

Групповой портрет с дамой

Автор:

Генрих Бёлль

Групповой портрет с дамой

Генрих Бёлль

Эксклюзивная классика (АСТ)

Книга, после которой Бёлль был удостоен Нобелевской премии.

Книга с интереснейшей композицией – ведь о главной героине мы узнаем только со слов ее знакомых, друзей и врагов.

Книга на стыке жанров – ведь этот роман скорее напоминает личное дело.

Итак, знакомьтесь: Лени Пфайфер (урожденная Груйтен) – «самая немецкая девочка в школе», «любительница пения, кино и танцев» и «глупая гусыня».

Странная женщина с чудаковатыми манерами и привычками, словно специально старающаяся нарушить все общепризнанные правила. Вся жизнь Лени – вызов окружающим, а ее непростая судьба – отражение эпохи военной и послевоенной Германии. Так кто же она на самом деле: грешница или святая, способная творить чудеса?

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Генрих Бёлль

Групповой портрет с дамой

Heinrich Böll

Gruppenbild Mit Dame

© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG, Gologne/Germany, 1971, 1987, 2005

© Текст, перевод. Е. Михелевич, наследники, 2019

© Стихотворения, перевод. В. Микушевич, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *

I

Главным действующим лицом первой части является женщина сорока восьми лет, немка; ее рост – один метр семьдесят один сантиметр, вес – шестьдесят восемь восемьсот (в домашнем платье), стало быть, всего на триста-четыре грамма меньше идеального; цвет ее глаз меняется от темно-синего до черного; прямые, очень густые, светлые с легкой проседью волосы свободно свисают до плеч и обрамляют ее лицо наподобие шлема. Зовут эту женщину Лени Пфайфер, в девичестве – Груйтен; в течение тридцати двух лет – естественно, с перерывами – она была винтиком того странного механизма, который называют трудовым процессом: работала пять лет – без специального образования – помощницей в конторе своего отца и двадцать семь – простой работницей в садоводстве. В годы инфляции легкомысленно отдав в другие руки значительную недвижимость – солидный доходный дом, расположенный в новом районе города и нынче стоящий никак не меньше четырехсот тысяч марок, она в общем-то лишила себя средств к существованию с тех пор, как бросила работу без всяких видимых причин – не по болезни и не по старости. Поскольку в 1941 году Лени Пфайфер в течение трех дней была женой кадрового унтер-офицера германского вермахта, она получает, как вдова фронтовика, государственную

пенсию, к которой в будущем прибавится еще и пособие из общественных фондов. Можно, пожалуй, утверждать, что в настоящее время дела у Лени обстоят из рук вон плохо – и не только в финансовом отношении, – особенно с тех пор, как ее любимый сын угодил за решетку.

Если бы Лени носила более короткую стрижку и слегка подкрашивала волосы «под седину», она производила бы впечатление хорошо сохранившейся сорокалетней женщины; а с длинными волосами контраст между молодежной стрижкой и уже слегка увядшим лицом слишком велик, так что на вид Лени можно дать под пятьдесят; это ее подлинный возраст, и все же внешность несколько поблекшей блондинки дает Лени шанс, которым ей не следовало бы пренебрегать: шанс казаться женщиной, которая ведет – или хочет вести – легкую жизнь, что в корне неверно. Лени – одна из редких женщин ее возраста, которая вполне могла бы себе позволить носить мини-юбку: на ее ногах нет ни расширенных вен, ни дряблости. Однако Лени придерживается той длины юбок, какая была в моде примерно в 1942 году, – главным образом потому, что она донашивает старые юбки; блузки и жакеты она предпочитает пуловерам, поскольку считает, и не без основания, что они будут слишком обтягивать ее грудь. Что же касается пальто и обуви, то она все еще обходится запасами хороших или хорошо сохранившихся вещей, которые приобрела в юности, в те годы, когда ее родители были состоятельными людьми. Лени носит пальто из буклированного серо-розового, зеленовато-голубого, черно-белого и светло-голубого (одноцветного) твида, а если считает, что головной убор необходим, повязывает голову платком; туфли у нее такие, какие в 1935–1939 годах покупали люди при деньгах, считая, что им «нет сносу».

Поскольку Лени в настоящее время лишена постоянного мужского покровительства и поддержки, она пребывает в глубоком заблуждении относительно своей прически; виновато в этом зеркало, старое зеркало, купленное еще в 1894 году, которое, на ее несчастье, пережило две мировые войны. Лени никогда не ходит ни в парикмахерскую, ни в супермаркет с огромными зеркалами, покупки она делает в небольшом магазинчике, который вскоре неминуемо прикроется из-за сдвигов в структуре торговли; поэтому Лени целиком и полностью полагается на это зеркало, о котором еще ее бабушка Герта Баркель, урожд. Хольм, говорила, что оно слишком уж льстит; Лени пользуется зеркалом очень часто. Прическа Лени – одна из причин постигших ее бед, но сама Лени об этом не подозревает. Зато она в полной мере ощущает, как ухудшается отношение к ней соседей – живущих как в ее доме, так и в близлежащих. За последние месяцы Лени посетило много мужчин; то были: посыльные из кредитных контор, вручившие ей строжайшие предупреждения,

поскольку напоминания кредиторов она оставляла без внимания; судебные исполнители; курьеры от адвоката и, наконец, помощники судебных исполнителей, забравшие вещи после описи имущества. А так как Лени, кроме того, сдает три меблированные комнаты жильцам, которые время от времени меняются, к ней приходило, естественно, и много молодых мужчин, желавших снять комнату. Некоторые из этих мужчин пытались приставать к ней – разумеется, безуспешно; общеизвестно, однако, что именно неудачливые ухажеры имеют обыкновение хвастаться своими успехами у женщин, так что легко догадаться, как быстро была подорвана репутация Лени.

Авт. не имеет возможности ознакомиться со всеми деталями физиологической, духовной и интимной жизни Лени, однако он сделал все, абсолютно все от него зависящее, дабы выяснить о Лени то, что называется фактической информацией (лица, предоставившие ее в распоряжение авт., будут даже поименно упомянуты в соответствующих местах текста!); таким образом, все, о чем сообщается, можно считать достоверным с вероятностью, граничащей с полной уверенностью. Лени – натура молчаливая и скрытная, и раз уж названы эти две черты ее характера, уместно будет упомянуть еще две: Лени не способна ни таить злобу, ни раскаиваться, она не раскаивается даже в том, что не оплакивала смерть своего первого мужа. Ее полная неспособность к раскаянию исключает употребление степеней сравнения – «больше» или «меньше»; вероятно, она просто не знает, что такое раскаяние; в этом отношении – как и в некоторых других – ее религиозное воспитание оказалось безрезультатным или может быть сочтено таковым, что, вероятно, пошло ей только на пользу.

Из свидетельств осведомленных лиц однозначно вытекает, что Лени больше не понимает этот мир и сомневается, понимала ли она его когда-либо; она не может постичь враждебности окружающих, не понимает, почему люди так против нее настроены и так дурно к ней относятся; она никому не делала и не сделала ничего плохого, в том числе и им; в последнее время, когда она выходит из дома, чтобы купить самое необходимое, над ней открыто смеются, а такие выкрики, как «дрянь» или «рваная подстилка», являются еще самыми безобидными. Не стесняются даже прибегать к ругательствам, поводом к которым были события тридцатилетней давности: «коммунистическая шлюха» или «русская подстилка». Лени на оскорбления не отвечает. И уже привыкла слышать за своей спиной «дрянь». Поэтому ее считают бесчувственной или даже твердокаменной; и то и другое неверно. Согласно надежным показаниям (свидетельница Мария ван Доорн), Лени часами сидит дома и плачет, ее конъюнктивальные мешочки и протоки слезных желез работают довольно активно. Даже соседских детей, с которыми у нее до последнего времени

отношения были вполне дружеские, натравливают против нее, и те кричат ей вслед слова, которых ни они, ни Лени, в сущности, не понимают. При этом, исходя из подробных и исчерпывающих свидетельских показаний, почерпнутых из всех, буквально всех источников, можно утверждать с вероятностью, граничащей с полной уверенностью, что Лени за всю свою жизнь сожительствовала с мужчинами в общем и целом раз двадцать пять: дважды с Алоисом Пфайфером, с которым была обвенчана (один раз до и один раз во время брака, продлившегося всего три дня), а остальные – с человеком, за которого даже вышла бы замуж, если бы обстоятельства того времени позволили ей это сделать. Спустя несколько минут после того, как сама Лени появится в нашем повествовании (это случится еще не скоро), она впервые сделает то, что можно было бы назвать ошибкой: она снизойдет к мольбам одного турецкого рабочего, который, стоя на коленях, будет просить ее на своем непонятном ей языке о благосклонности, и сделает она это лишь потому – надо сразу об этом сказать, – что не выносит, когда кто-то стоит перед ней на коленях (само собой разумеется, что сама она не способна ни о чем просить на коленях). К сказанному следует, вероятно, добавить, что Лени – круглая сирота и имеет несколько свойственников, которые ей неприятны, и несколько менее неприятных кровных или прямых родственников в деревне, а также сына двадцати пяти лет, носящего ее девичью фамилию и в настоящее время находящегося в тюрьме. Стоит упомянуть также одну особенность ее фигуры, – быть может, в какой-то степени объясняющую назойливость мужских притязаний к ней.

Грудь у Лени необычайно притягательна, женщину с такой грудью, безусловно, нежно любили, а ее грудь воспевали в стихах. Соседям больше всего хотелось отделаться или избавиться от Лени; ей даже кричали вслед: «Проваливай отсюда!» или: «Чтоб ты провалилась!»; из достоверных источников известно также, что иногда раздаются требования отправить ее в душегубку; авт. ручается, что такое желание высказывалось, но не знает, имеется ли возможность его осуществления; он может лишь добавить, что желание это выражалось достаточно энергично.

О повседневных привычках Лени нужно сообщить еще несколько деталей: она любит покушать, но ест немного; главная еда у нее за завтраком: утром она непременно съедает две свежайшие булочки, одно свежее яйцо всмятку, немного масла, одну-две столовые ложки джема (точнее: сливового пюре того сорта, который в других странах называют повидлом), выпивает чашку крепкого

кофе с горячим молоком и очень небольшим количеством сахара; к следующему приему пищи, называемому обедом, она испытывает меньший интерес: супа и немного десерта ей вполне достаточно; на ужин она не ест ничего горячего – два-три ломтика хлеба, немного салата и, если средства позволяют, колбасу или холодное мясо. Но главное значение для Лени имеют свежие булочки, которые она, отказавшись от доставки на дом, выбирает собственноручно – естественно, не трогая их руками и оценивая лишь по виду; ничто не внушает ей большего отвращения – во всяком случае, из еды, – чем неаппетитные булочки. И вот ради булочек, а также потому, что завтрак – ее главная трапеза, она и отправляется каждое утро в гущу людей, мирясь с оскорблениями, обидными выкриками и грубыми ругательствами в свой адрес.

Что касается курения, то надо сказать, что Лени курит с семнадцати лет, обычно не больше восьми сигарет в день, чаще даже меньше; в войну она временами воздерживалась от курения, чтобы припасти сигареты для человека, которого любила (не своего мужа!). Лени относится к той категории людей, которые не прочь иногда выпить рюмку-другую вина, но никогда не пьют больше, чем полбутылки; при соответствующей погоде она позволяет себе иногда рюмочку шнапса, а при соответствующем настроении и наличии денег – бокал шерри. Прочие сведения: у Лени имеются водительские права с 1939 года (получены по особому разрешению при обстоятельствах, о которых подробнее будет сказано ниже), но уже с 1943 года машины у нее нет. Водила она ее охотно, даже можно сказать – со страстью.

Лени все еще живет в том доме, в котором родилась. Ее квартал по необъяснимым причинам не пострадал от бомбежек, – во всяком случае, не слишком пострадал; он был разрушен всего на 35 %, то есть судьба обошлась с ним милостиво. Недавно с Лени произошло нечто такое, что даже заставило ее разговориться: при первой же возможности она поделилась пережитым со своей закадычной подругой и главным доверенным лицом, которая и для авт. является главным источником информации, причем голос Лени от волнения дрожал: утром, когда она, идя за булочками, переходила улицу, ступня ее правой ноги ощутила небольшую выбоину в брусчатке, которой была вымощена проезжая часть; на эту выбоину ее нога наткнулась в последний раз сорок лет назад, когда Лени прыгала там с другими девочками; вероятно, кусочек брусчатки нечаянно отбил каменщик, когда мостили улицу в 1894 году. Нога Лени тут же передала сигнал в мозг, откуда он проследовал во все органы чувств и эмоциональные центры, а поскольку Лени – человек необычайно чувственный и у

нее все, абсолютно все немедленно приобретает эротическую окраску, то от умиления, печали, нахлынувших воспоминаний и общей взволнованности она пережила такое состояние, которое в теологических словарях обозначается термином «абсолютное чувственное удовлетворение», хотя в виду там имеется нечто совсем иное; примитивные эротологи и сексотеологические догматики, огрубляя и схематизируя, называют это состояние оргазмом.

Чтобы не создалось впечатление, будто Лени совсем одинока, надо назвать всех ее друзей, из которых большинство делили с ней радость, а двое – и радость и горе. Причина ее одиночества – только в ее молчаливости и замкнутости; можно назвать ее даже скрытной; она действительно очень редко «изливает душу» даже перед своими давнишними подругами: Маргарет Шлемер, урожд. Цайст, и Лоттой Хойзер, урожд. Бернтген, которые оставались с Лени, когда дела ее были совсем уж плохи. Маргарет – сверстница Лени, как и Лени, она овдовела, однако эта похожесть может привести к неправильному пониманию. У Маргарет было много связей с мужчинами по причинам, о коих будет сказано ниже, но никогда по расчету, хотя временами – когда ей приходилось особенно туго – она и брала с них деньги; и все же лучше всего Маргарет характеризует тот факт, что ее единственной любовной связью по расчету был брак с человеком, за которого она вышла восемнадцати лет; именно тогда она сказала Лени единственную достойную шлюхи и бесспорную фразу (это случилось в 1940 году): «Я подцепила одного богатого малого, которому приспичило пойти со мной под венец». В настоящее время Маргарет лежит в больнице, в боксе, у нее какая-то страшная венерическая болезнь, вероятно неизлечимая; она сама говорит про себя, что «прогнила насквозь», – вся ее эндокринная система нарушена, разговаривать с ней можно только через стеклянную перегородку, и она рада любой пачке сигарет и бутылочке шнапса, которые ей приносят, даже если это самая маленькая бутылочка, какая только есть в продаже, а шнапс – самый дешевый. Ее эндокринная система разрушена до такой степени, что, по ее словам, «она бы не удивилась, если бы у нее вместо слез из глаз полилась моча». Она рада любому наркотику, будь то морфий, опиум или гашиш.

Больница расположена за городом, на природе, и состоит из разбросанных среди зелени коттеджей. Чтобы попасть к Маргарет, авт. пришлось прибегнуть к различным предосудительным приемам, как-то: подкупу и мошенничеству, выразившемуся в незаконном присвоении функций должностного лица (он выдал себя за доцента по социологии и психологии проституток!).

Несколько забегаая вперед, нужно добавить, что Маргарет «сама по себе» куда менее чувственна, чем Лени; Маргарет погубила не жажда страстных любовных ласк, а то обстоятельство, что другие очень жаждали получить от нее эти ласки, кои она по своей натуре была склонна щедро расточать; дальше мы еще вернемся к этому. Ясно, во всяком случае, одно: Лени страдает, Маргарет страдает.

«Сама по себе» не страдает, а страдает только потому, что страдает Лени, которую она действительно очень любит, уже упомянутая выше женщина по имени Мария ван Доорн, семидесяти лет, некогда служанка в доме Груйтенгов, родителей Лени: теперь она уединенно живет в деревне, где инвалидная пенсия, огород и несколько фруктовых деревьев, а также десяток кур и определенная доля доходов от свиней и телят, которых она помогает откармливать, обеспечивают ей мало-мальски спокойную старость. Мария делила с Лени только радость и отделилась от нее, когда «горестей навалилось слишком уж много», по причинам – это нужно особо подчеркнуть – отнюдь не морального, а, как это ни странно, национального свойства. У Марии, вероятно, еще пятнадцать-двадцать лет назад «душа была на подобающем месте»; но за истекшие годы этот излишне перевозносимый «орган» если не пропал вовсе, то переместился куда-то значительно ниже, не «в пятки», конечно, трусливой она никогда не была; Мария возмущена тем, что травят ее Лени, которую она в самом деле хорошо знает, наверняка намного лучше, чем ее знал мужчина, фамилию которого та носит. Как-никак, Мария ван Доорн прожила в доме Груйтенгов с 1920 по 1960 год, при ней Лени появилась на свет, на ее глазах прошла вся жизнь Лени со всеми ее перипетиями; она готова вновь вернуться к Лени, но покамест еще прилагает всю свою (довольно-таки значительную) энергию к тому, чтобы уговорить Лени переехать к ней в деревню. Она в ужасе от того, что происходит вокруг Лени и что ей угрожает, и даже готова поверить в зверства, некогда совершенные ее соотечественниками, которые доныне не то чтобы вовсе отрицала, но считала маловероятными, принимая во внимание их масштабы.

Особое место среди лиц, снабжающих авт. информацией, занимает музыкальный критик доктор Хервег Ширтенштайн; уже сорок лет он живет в задних комнатах квартиры, которая восемьдесят лет назад считалась бы роскошной, но уже после Первой мировой войны утратила свой былой блеск и была поделена; благодаря тому, что его окна в бельэтаже выходят в тот же двор, что и выходящие во двор окна квартиры Лени, расположенной в соседнем доме, он

имел возможность в течение десятилетий внимательно следить за тем, как Лени играла на рояле сначала простые упражнения, затем более сложные, а позже достигла даже некоторого мастерства; при этом он так и не узнал, что играет на рояле именно Лени; хотя в лицо он ее и знает – за сорок лет не раз встречался с ней на улице (даже весьма вероятно, что наблюдал за Лени, когда она еще прыгала во дворе вместе с другими девочками, поскольку он очень интересуется детскими играми и защитил диссертацию на тему «Музыка в детской игре»); а так как он еще и равнодушен к женским прелестям, то, конечно же, за эти годы не мог не заметить, как менялся облик Лени, и не раз одобрительно кивал головой ей вслед, а возможно, даже питал насчет нее какие-то тайные надежды; и все же нужно заметить, что он не имел на Лени серьезных видов, поскольку считал ее – по сравнению с другими женщинами, с которыми Ширтенштайн бывал близок, – «чуть-чуть вульгарной». Если бы он знал, что это именно Лени после нескольких лет ученических экзерсисов научилась так мастерски исполнять, правда, всего два опуса, Шуберта, что Ширтенштайну за десять лет не наскучило их слушать, он, скорее всего, изменил бы свое мнение о Лени – он, которого сама Моника Хаас не только боялась, но и уважала. К Ширтенштайну, который позже неумышленно вступит с Лени в эротическую связь не то чтобы телепатического, а скорее всего, лишь телечувственного характера, мы еще вернемся. Справедливости ради следует сказать, что Ширтенштайн готов был бы делить с Лени не только радость, но и горе, однако такой случай ему не представился.

Сообщить о родителях Лени довольно много, о душевных переживаниях Лени весьма мало, о внешней стороне жизни Лени почти все могло еще одно информированное лицо: восьмидесятипятилетний старик Отто Хойзер, бывший главный бухгалтер, двадцать лет назад вышедший на пенсию и проживающий ныне в комфортабельном доме для престарелых, сочетающем в себе преимущества роскошного отеля и дорогого санатория. Он весьма регулярно навещает Лени, или же она сама наносит ему визит.

Кладезем достоверных свидетельств является его невестка Лотта Хойзер, урожд. Бернтген; менее достоверные источники информации – ее сыновья Вернер и Курт, достигшие к настоящему времени тридцати пяти и, соотв., тридцати лет. Лотта Хойзер настолько же надежна, насколько озлоблена, однако ее озлобленность не была направлена на Лени; Лотте пятьдесят семь лет, она, как и Лени, вдова фронтовика, конторская служащая.

Не считаясь ни с чем, в том числе и с кровными узами, связывающими ее со свекром (см. выше) и с младшим сыном Куртом, Лотта Хойзер называет их обоих гангстерами, обвиняя чуть ли не их одних в том, что Лени теперь оказалась в таком отчаянном положении: «только недавно узнала такие вещи, сообщить которые Лени у меня попросту духу не хватает, потому что я и сама их никак не переварю. Это просто уму непостижимо». Лотта живет в двухкомнатной квартире с кухней и ванной в центре города, за которую платит примерно треть своего месячного жалованья. Она подумывает о том, чтобы переехать обратно к Лени, – из симпатии к ней, а также для того, чтобы, как она добавляет с угрозой (кому она грозит, остается нам пока неизвестным), «поглядеть, выбросят ли они на улицу заодно и меня. Боюсь, что с них станется». Лотта служит в каком-то профсоюзе – «не по убеждению (добавляет она по собственной инициативе), а только потому, что надо же что-то жрать и как-то жить».

Кроме упомянутых имеется еще несколько свидетелей, – может быть, не менее важных: ученый-славист доктор Шольсдорф, вошедший в жизнь Лени в результате сплетения или сложного переплетения обстоятельств; это переплетение будет впоследствии объяснено, несмотря на всю его сложность. В результате разномасштабных событий, которые также будут описаны авт. в соответствующем месте, Шольсдорф достиг высоких постов в финансовых органах; он собирается подвести черту под этой карьерой, досрочно уйдя на пенсию.

Еще один ученый-славист, доктор Хенгес, играет в общем-то второстепенную роль; как источник информации он весьма сомнителен, и не только сам сознает свою сомнительность в этом качестве, но, я бы сказал, даже подчеркивает ее чуть ли не с радостью. Он называет себя человеком «абсолютно разложившимся», каковой характеристикой авт. не хотел бы воспользоваться именно потому, что она принадлежит самому характеризуемому лицу. Хенгес признался, хотя его об этом никто не просил, что, находясь в Советском Союзе на службе у одного (недавно убитого) дипломата графского происхождения и занимаясь «вербовкой рабочих для военной промышленности Германии», он «предал свой русский язык, мой великолепный русский язык». Хенгес «располагает средствами» (Х. о Х.) и живет неподалеку от Бонна, занимаясь переводами для различных восточно-политических журналов и учреждений.

Мы зашли бы слишком далеко, если бы начали уже сейчас обстоятельно характеризовать всех свидетелей жизни Лени. Они будут представлены

читателю в соответственном месте и подробно описаны вместе с их окружением. А здесь следует упомянуть лишь бывшего букиниста, пожелавшего ограничиться инициалами Б. Х. Т. и служащего источником информации не о самой Лени, а лишь об одной католической монахине, сыгравшей важную роль в жизни Лени.

Не очень значительным, зато и поныне здравствующим свидетелем, которого, как лицо заинтересованное, авт. придется игнорировать в тех случаях, когда речь пойдет о нем самом, является деверь Лени, Генрих Пфайфер, сорока четырех лет, женатый на некоей Хетти, урожд. Ирмс, и имеющий двух сыновей, восемнадцати и четырнадцати лет, – Вильгельма и Карла.

В соответствующем месте, с обстоятельностью, соответствующей степени их важности, будут представлены также три высокопоставленных лица мужского пола: один из них – политический деятель муниципального уровня, другой – крупный промышленник, третий – один из высших чиновников министерства вооружений; кроме того, две работницы – обе пенсионерки по инвалидности – и двое или трое советских граждан; еще – хозяйка нескольких цветочных магазинов; старик садовник, бывший владелец садоводства, – еще не очень старый человек, который (его подлинные слова!) «целиком посвятил себя управлению собственной недвижимостью», и некоторые другие. Важные информанты будут описаны с точным указанием их роста и веса.

Та обстановка, что осталась в квартире Лени после множества описей за долги, представляет собой мешанину из мебели производства 1885 и 1920/25 годов: благодаря наследству, полученному ее родителями в 1920 и 1922 годах, в квартире Лени оказалось несколько предметов обстановки в стиле модерн, а именно – комод, книжный шкаф и два стула, антикварная ценность которых покамест осталась не замеченной судебными исполнителями: вся эта мебель была сочтена «рухлядью». Зато конфискованы по описи и вынесены из квартиры восемнадцать полотен кисти местных современных художников, относящиеся к периоду 1918–1935 годов, преимущественно религиозного содержания, ценность которых была завышена судебными исполнителями из-за их подлинности и потеря которых ничуть не огорчила Лени. Стены ее жилища увешаны очень четкими цветными фотографиями, изображающими органы человеческого тела; ими снабжает Лени ее деверь, Генрих Пфайфер; он служит в отделе здравоохранения, и в его обязанности в числе прочего входит также

распределение учебного и информационного материала. Он приносит Лени фотоплакаты, которые поблекли и были списаны за негодностью («Хотя это плохо согласуется с моей совестью». Г. Пфайфер). Чтобы не вносить путаницы в учетные документы, Пфайфер приобретает списанные плакаты по минимальной цене; а поскольку «в его ведении» и приобретение новых наглядных пособий, при его посредничестве Лени изредка удается заполучить и новый плакат, который она приобретает прямо у фирмы-изготовителя и оплачивает, естественно, из своего (тощего) кошелька. Поблекшие плакаты Лени сама подновляет: осторожно промывает их мыльным раствором или бензином, восстанавливает выцветшие линии мягким черным карандашом и раскрашивает дешевыми акварельными красками, сохранившимися в доме еще с детских лет ее сына. Любимый плакат Лени – научно точное изображение увеличенного во много раз человеческого глаза – висит над роялем (чтобы сохранить неоднократно заложенный и перезаложенный рояль и спасти от судебных исполнителей, грозивших его вывезти, Лени унижалась, выпрашивая деньги у старинных знакомых ее покойных родителей или у своих жильцов в счет будущей квартирной платы, а также беря займы у своего деверя Генриха, а большей частью – у старика Хойзера, визиты к которому коробят Лени из-за его якобы чисто отеческих прикосновений; по словам трех самых надежных свидетельниц (Маргарет, Марии, Лотты), Лени даже сказала, что ради рояля готова «пойти на панель», – чрезвычайно рискованное высказывание в устах Лени. Стены украшают и менее привлекательные для глаз изображения других человеческих органов, таких как кишечник, и даже увеличенные половые органы с точным описанием всех функций тоже красуются на стенах, причем они висели здесь задолго до того, как порнотеология позаботилась об их популяризации.

В свое время между Лени и Марией происходили бурные ссоры из-за этих изображений, которые Мария называла безнравственными, но Лени не поддавалась и настояла на своем.

Поскольку авт. все равно пришлось бы коснуться отношения Лени к метафизике, лучше сразу же, в самом начале, сообщить: метафизика не представляет для Лени ни малейших трудностей. Она находится с Девой Марией в самых дружеских отношениях, чуть ли не ежедневно общается с ней с помощью телевизора, всякий раз удивляясь, что Дева Мария тоже блондинка и тоже не такая уж юная, какой ее хотелось бы видеть; эти встречи происходят в полной тишине, обычно поздно вечером, когда все соседи спят и по всем

телепрограммам – включая голландскую – уже прозвучал сигнал окончания передач; Лени и Дева Мария просто смотрят друг на друга и улыбаются. Не больше и не меньше. Лени ничуть не удивилась бы, а тем более не испугалась, если бы однажды на экране телевизора после окончания передач появился бы Сын Девы Марии. Ожидает ли она именно этого, авт. неизвестно. Но после всего, что он за последнее время узнал, авт. готов в это поверить. Лени знает от начала до конца две молитвы, которые время от времени бормочет про себя: «Отче наш» и «Ave Maria». Кроме того, она знает еще два-три кусочка из обязательных молитв. Молитвенника у нее нет, в церковь она не ходит и верит в то, что в космосе есть «одушевленные существа» (Лени).

Прежде чем более или менее полно описать годы учения Лени, заглянем в ее книжный шкаф; основная масса бесславно пылящихся там книг составляла некогда чью-то библиотеку, оптом купленную ее отцом по случаю. Книги эти того же сорта, что и картины маслом, покуда избежавшие описи; среди них есть несколько полных годовых комплектов старого иллюстрированного ежемесячника церковной (католической) ориентации, в которые Лени время от времени заглядывает; этот журнал – букинистическая редкость – обязан своей сохранностью исключительно невежеству судебного исполнителя, обманутого его неказистым видом. Не ускользнули от внимания судебного исполнителя, к сожалению, комплекты журнала «Хохланд» за 1916–1940 годы, а также стихотворения Уильяма Батлера Йейтса, принадлежавшие матери Лени. Более внимательные наблюдатели, такие как Мария ван Доорн, которая, вытирая пыль, волей-неволей рассматривала книги в шкафу, или Лотта Хойзер, которая в годы войны долгое время была второй закадычной подругой Лени, обнаружили в этом книжном шкафу стиля модерн семь-восемь неожиданных здесь авторов: стихотворения Брехта, Гёльдерлина и Тракля, два тома прозы Кафки и Клейста, два романа Толстого («Воскресение» и «Анна Каренина»); все эти семь-восемь книг зачитаны – что, несомненно, делает честь их авторам и не может не льстить их самолюбию – до такой степени, что не рассыпаются только благодаря многочисленным неумело сделанным склейкам с помощью различных клеящих средств и клейких лент, а частично даже просто стянутых кое-как резинкой. На предложения подарить ей новые издания произведений упомянутых авторов (к Рождеству, дню рождения, именинам и т. д.) Лени отвечает отказом столь решительным, что даже обижает потенциальных дарителей. Авт. позволит себе сделать здесь одно замечание, выходящее за рамки его компетенции: он твердо убежден, что Лени поставила бы в шкаф и некоторые прозаические произведения Беккета, если бы в ту пору, когда литературный консультант Лени еще имел возможность оказывать на нее влияние, эти произведения были

напечатаны или известны этому консультанту.

К слабостям Лени относятся не только те восемь сигарет, что она выкуривает за день, не только интерес к еде, правда, весьма умеренный, не только исполнение на рояле двух вещей Шуберта и умиленное разглядывание изображений человеческих органов, включая кишки; не только нежность, с какой она думает о своем сыне Льве, в настоящее время сидящем за решеткой. Еще она любит танцевать, причем всегда обожала танцы (что однажды привело к роковым для нее последствиям: из-за страсти к танцам она и обречена всю жизнь носить отвратительную ей фамилию Пфайфер). Но куда пойти танцевать одинокой сорокавосемилетней женщине, которую ее соседи осудили на смерть в газовой камере? Разве может она пойти в молодежные кафе, где ее наверняка примут за секс-старуху и, возможно, надругаются над нею? Заказано ей участвовать и в приходских праздниках с танцами, поскольку она с четырнадцати лет никаких отношений с церковью не имеет. Если бы она разыскала других подруг своей молодости, кроме Маргарет, – которой, весьма вероятно, придется забыть о танцах до конца дней, – то она попала бы на какую-нибудь вечеринку со стриптизом и обменом партнерами, не имея собственного партнера, и покраснела бы в четвертый раз в жизни. Доныне Лени краснела всего трижды. Что же остается ей делать? Она танцует в одиночестве, иногда полуодетая, в своей комнате, служащей гостиной и спальней, а в ванной порой и нагишом, перед лстящим ей зеркалом. Время от времени ее видят и даже застают за этим занятием, что отнюдь не способствует улучшению ее репутации. Однажды она потанцевала с одним из своих квартирантов, неким Эрихом Кёплером, рано облысевшим судебным заседателем; при этом Лени покраснела бы, не будь назойливые приставания этого господина слишком уж пошлыми; во всяком случае, ей пришлось попросить его съехать с квартиры, поскольку он – человек в общем-то неглупый и отнюдь не лишенный инстинкта – после того «рискованного танца» (Лени), который начался как бы нечаянно – жилец пришел заплатить за комнату и застал Лени за слушанием танцевальной музыки, – понял, что Лени – женщина чрезвычайно чувственная; и стал каждый вечер жалобно скулить у нее под дверь. Лени не пожелала снизойти к его мольбам, потому что он ей не нравился, и с тех пор Кёплер, снявший комнату по соседству, стал одним из наиболее злобных гонителей Лени; в доверительной беседе с хозяйкой небольшого магазинчика, которому грозит банкротство из-за сдвигов в структуре торговли, он время от времени расписывает подробности своей якобы имевшей место любовной связи с Лени; подробности эти приводят лавочницу, особу смазливую и бессердечную, супруг которой днем обычно не бывает дома (он работает на автозаводе), в такое возбуждение, что она тащит

лысого заседателя, ставшего за это время советником, в заднюю комнатку, где и удовлетворяет с ним свою разыгравшуюся похоть. Вот эта-то лавочница, по имени Кэте Першт, двадцати восьми лет от роду, и возводит на Лени самую злобную хулу, обвиняя ту в безнравственности, хотя сама во время ярмарки, когда город наводняют приезжие, главным образом мужчины, при посредничестве своего мужа нанимается в ночной клуб, где за большие деньги выступает со стриптизом, причем перед ее номером конференсье масленным голосом объявляет, что она готова пойти навстречу тем эмоциям, которые вызовет ее выступление.

В последнее время Лени иногда выпадает случай потанцевать. Приобретя некоторый опыт, она теперь сдает лишние комнаты только супружеским парам и иностранным рабочим: так, она сдала две комнаты с некоторой скидкой – это при ее-то стесненных обстоятельствах! – приятной молодой чете; ради простоты назовем супругов Гансом и Гретой; и вот эти Ганс и Грета, слушая вместе с Лени танцевальную музыку, заметили и правильно поняли ритмичные покачивания Лени, поэтому теперь Лени иногда удастся «потанцевать по-честному». Ганс и Грета иногда даже пытаются деликатно обсудить с Лени ее положение, советуют ей обновить гардероб, изменить прическу и найти себе любовника. «Лени, тебе бы только чуть-чуть подчеркнуть твою красоту, надеть нарядное розовое платье, натянуть ажурные чулочки на твои восхитительные ножки – и ты очень скоро заметишь, что ты еще очень и очень привлекательна». Но Лени лишь отрицательно качает головой, она слишком обижена на людей, больше не ходит в лавку за продуктами – покупки делает за нее Грета, а Ганс каждое утро до работы быстренько забегает к булочнику (он служит техником в дорожно-строительном управлении, Грета работает косметичкой и не раз предлагала Лени – пока безуспешно – воспользоваться ее услугами без всякой оплаты) и приносит Лени две свежайшие булочки, без которых Лени не может жить и которые для нее важнее, чем для других людей «Святые Дары».

Стены в комнате Лени увешаны, конечно, не только учебными пособиями по анатомии человека, висят здесь и фотографии – фотографии людей, которых уже нет; сделанный незадолго до смерти снимок ее матери, которая умерла в 1943 году в возрасте сорока одного года: лицо страдальцы с огромными глазами и редкими седыми волосами, сидящей, закутавшись в плед, на скамье у Рейна под Херзелем рядом с причалом, на вывеске которого можно прочесть название этого местечка; на заднем плане виднеются стены монастыря. Заметно, что мать Лени зябнет; бросается в глаза также ее потухший взгляд и плотно сжатые

губы; видно, что у нее нет желания жить; если бы кого-нибудь попросили назвать ее возраст, тот попал бы в затруднительное положение: то ли это преждевременно состарившаяся из-за какого-то тайного недуга тридцатилетняя женщина, то ли шестидесятилетняя дама хрупкого сложения, сохранившая некоторые приметы молодости. Мать Лени на этой фотографии улыбается – не то чтобы вымученно, но с заметным усилием.

Отец Лени тоже сфотографирован незадолго до смерти, в 1949 году, в возрасте сорока девяти лет. Снимок нечеткий, видно, что сделан он любителем; отец Лени тоже улыбается, но без всяких усилий; он стоит во весь рост в рабочем комбинезоне каменщика, во многих местах аккуратно залатанном, на фоне разрушенного дома и держит в левой руке ломик с раздвоенным концом, который мастера называют гвоздодером, а в правой – большой молоток, называемый ими кувалдой; перед ним, слева и справа от него и сзади лежат стальные балки разной величины, к которым, вероятно, и относится его улыбка – улыбка рыбака, глядящего на свой дневной улов. Но эти балки – как будет подробно объяснено позже – и на самом деле представляют собой его улов, ведь он работал тогда у упомянутого выше бывшего владельца садоводства, который рано учуял шанс «нажиться на развалинах» (свидетельство Лотты Х.). Отец Лени заснят с непокрытой головой, волосы у него очень густые, лишь слегка подернутые сединой; к этому рослому, статному мужчине, так естественно держащему в руках инструмент, трудно подобрать точное определение его социального статуса. Производит ли он впечатление пролетария или же образованного господина? Выглядит ли он человеком, выполняющим непривычную для него работу, или же этот явно тяжелый физический труд ему хорошо знаком? Авт. склонен считать, что и то и другое верно, причем в обоих случаях. Слова Лотты Х., сказанные об этом снимке, укрепляют его в этом мнении, она называет отца Лени на этом фото «господин пролетарий». По его виду никак не скажешь, будто он утратил вкус к жизни. Он кажется не моложе и не старше своих лет и точно соответствует представлению о «хорошо сохранившемся мужчине под пятьдесят», который вполне мог бы в брачном объявлении обещать «счастье будущей жизнерадостной подруге, желательно не старше сорока».

Еще четыре фотографии запечатлели четырех молодых мужчин; все примерно лет двадцати, трех из них уже давно нет, четвертый (сын Лени) жив. У двоих из молодых мужчин на фото видны некоторые характерные недостатки, правда, касающиеся лишь их одежды: хотя сфотографированы только лица, однако видна и часть груди, поэтому не стоит никакого труда установить, что молодые люди облачены в мундир немецкого вермахта, украшенный имперским орлом и

свастикой – той двойной эмблемой, которую сведущие люди называют «прогоревшим стервятником». Эти молодые люди – брат Лени Генрих Груйтен и ее кузен Эрхард Швайгерт; их – как и третьего – следует отнести к жертвам Второй мировой войны. Генрих и Эрхард производят впечатление «в чем-то типичных немцев» (авт.), «в чем-то типичном» (авт.) они оба сходны со всеми молодыми образованными немцами тех лет, фото которых сохранились; вероятно, мысль автора проясняет слова Лотты Х., назвавшей обоих юношей «Бамбергскими всадниками», – характеристика, как выяснится позже, безусловно, отнюдь не лестная. Объективности ради следует отметить, что Э. – блондин, а Г. – шатен, что оба они тоже улыбаются, причем Э. «открыто и простодушно» (авт.), и улыбка у него милая и очень добрая. Г. улыбается не так открыто, в уголках губ у него заметен налет того скептицизма, который часто ошибочно принимают за цинизм и который для 1939 года, когда сделаны оба снимка, может считаться довольно провидческим и даже чуть ли не прогрессивным.

На третьем снимке запечатлен советский русский по имени Борис Львович Колтовский; он не улыбается; сам снимок представляет собой сильно увеличенную и благодаря этому уже похожую на графику фотокарточку паспортного формата, сделанную любителем в Москве в 1941 году. Со снимка смотрит бледный серьезный юноша, у которого волосы надо лбом начинаются так высоко, что поначалу кажется, будто это признак раннего облысения, но потом понимаешь, что это просто свойственная Борису особенность, поскольку волосы у него густые, светлые и волнистые. Глаза его, темные и довольно большие, из-за стекол очков в никелированной оправе так блестят, что этот блеск можно принять за графический изыск. Сразу видно, что этот человек, несмотря на его серьезность, худобу и чрезвычайно высокий лоб, был очень молод, когда делался снимок. Одет он в штатское – рубашка с отложным воротником апаш, без пиджака, – из чего можно заключить, что снимок был сделан летом.

На шестом фото запечатлен сын Лени, Лев. Хотя снят он в том же возрасте, что и Э., Г. и Б., он кажется моложе их всех; вероятно, это объясняется лучшим качеством фотоматериалов в 1965 году, когда был сделан снимок, чем в 1939-м и 1941-м. К сожалению, нельзя не отметить, что Лев на снимке не просто улыбается, а смеется во весь рот; любой, не колеблясь, назовет его «веселым парнем»; бросается в глаза явное сходство между ним, отцом Лени и его собственным отцом, Борисом. Волосами он пошел в Груйтенов, а глазами – в Баркелей (мать Лени была урожденная Баркель. – Авт.), благодаря чему Лев похож еще и на Эрхарда. Его смеющееся лицо и его глаза наводят на мысль о

том, что он наверняка не обладает двумя качествами своей матери: Лев явно не молчалив и не скрытен.

Кроме фотографий, плакатов с изображениями человеческих органов, рояля и свежих булочек, есть еще одна вещь, которой Лени также очень дорожит: это ее купальный халат, который она ошибочно и упорно именуется капотом. Это одеяние из «махровой ткани довоенного качества» (Лотта Х.), некогда вишневого цвета, что и сейчас еще заметно на спине и у швов под карманами, за истекшее время – тридцать лет! – вылиняло до цвета сильно разбавленного малинового сиропа. Халат этот во многих местах заштопан оранжевыми нитками, и, надо заметить, весьма искусно. Лени редко расстаётся с этим халатом, фактически почти его не снимает, и, по слухам, даже сказала, что «хочет в свое время быть похороненной в нем» (Ганс и Грета Хельцен, поставляющие авт. информацию по всем бытовым вопросам).

Вероятно, следует хотя бы вкратце упомянуть людей, ныне населяющих квартиру Лени: две комнаты она сдала Гансу и Грете Хельцен; две – семейству Пинто из Португалии, состоящему из родителей – Иоакима и Анны-Марии – и троих детей – Этельвины, Мануэлы и Жозе; и последнюю комнату – трем уже далеко не молодым рабочим из Турции, которых зовут Кайя Тунч, Али Кылыч и Мехмед Шахан.

II

Лени, естественно, не всегда было сорок восемь, поэтому придется заглянуть и в ее прошлое.

Со старых фотографий Лени на нас смотрит девчушка, которую каждый называл бы хорошенькой и жизнерадостной; даже в форме нацистской организации для девочек – в возрасте тринадцати, четырнадцати и пятнадцати лет – Лени очень мила. Ни один мужчина, поглядев на эти снимки, не оценил бы ее физические данные иначе, как только: «А она недурна, черт побери». Ведь стремление к спариванию у людей включает широкий диапазон чувств; это и любовь с первого взгляда, и спонтанное сиюминутное желание просто переспать с лицом другого или даже того же пола – так, мимоходом, не рассчитывая на сколько-нибудь

длительную связь, и доходит до глубочайшей, всепоглощающей страсти, не дающей покоя ни душе, ни телу; и все проявления этой страсти, не поддающиеся никаким закономерностям или законам, и каждое в отдельности, от самого поверхностного до самого глубокого, могли быть внушены внешностью Лени и действительно были ею внушены. Когда Лени исполнилось семнадцать, она совершила решающий скачок от хорошенькой девчушки к настоящей красавице, который легче дается темноглазым блондинкам, нежели голубоглазым. На этой стадии любой мужчина оценил бы ее не иначе, как «достойную всяческого внимания».

Необходимо сделать несколько замечаний и касательно образования Лени. В шестнадцать лет она поступила работать в контору своего отца, вероятно, заметившего совершенный ею скачок от хорошенькой девчушки к красавице и – главным образом из-за впечатления, производимого ею на мужчин, – привлекавшего ее к участию в важных деловых переговорах (на дворе стоял 1938 год), при которых Лени присутствовала с карандашом в руках и время от времени записывала в блокнот несколько слов. Стенографировать она не умела, да и не стала бы ни за что учиться этому делу. Хотя абстракции и вообще все абстрактное не были ей совершенно чужды, все же «крючки-закорючки», как она называла стенографию, она осваивать не захотела. Годы ее учения были отмечены страданиями – правда, страдали больше учителя, чем она сама. Она закончила четыре класса начальной школы с весьма незавидными и в значительной степени завышенными оценками; за это время она дважды не то чтобы была оставлена на второй год, но «добровольно оставалась для повторного прохождения программы». Один из еще здравствующих свидетелей тех лет, бывший директор начальной школы, а ныне шестидесятипятилетний пенсионер Шлокс, которого удалось разыскать в деревне, куда он удалился на покой, припомнил, что Лени иногда даже собирались перевести в школу для недоразвитых детей и что спасли ее от этого два обстоятельства: во-первых, состоятельность ее отца, которая – как особо подчеркивает Шлокс – играла известную роль, причем не прямо, а лишь косвенно, а во-вторых, тот факт, что в свои одиннадцать-двенадцать лет Лени два года подряд была признана комиссией по расовым вопросам, обследовавшей все школы, «самой истинно немецкой девочкой школы». Однажды Лени даже оказалась претенденткой на звание «самой истинно немецкой девочки города», но была отодвинута на второе место дочкой протестантского священника, глаза у которой были светлее, чем у Лени: к тому времени они уже частично утратили первоначальную голубизну. Разве можно отправить «самую истинно немецкую девочку школы» в школу для недоразвитых? В двенадцать Лени перешла в лицей при монастыре, откуда уже в четырнадцать ее пришлось забрать как не

справившуюся с программой; за два года она один раз с треском провалилась на экзаменах и один раз была условно переведена в следующий класс, поскольку ее родители клятвенно обещали не воспользоваться этим переводом. Свое обещание они сдержали.

* * *

Во избежание недоразумений необходимо дать объективную информацию, объясняющую те неудачные стечения обстоятельств в годы учения, жертвой которых была или стала Лени. В этой связи речь идет не о чьей-то вине – ни в начальной школе, ни в лицее с Лени не возникало никаких серьезных конфликтов, – а лишь о недоразумениях. Лени проявила явные способности к учебе, более того – жажду знаний, и все участники педагогического процесса старались эту жажду утолить. Вот только напитки, которые ей для этого предлагались, не соответствовали складу ее ума, ее задаткам, особенностям ее восприятия. В большинстве, пожалуй, даже во всех случаях предлагаемый ей учебный материал не обладал той чувственной основой, без которой Лени ничего не могла воспринимать. Например, процесс письма не представлял для нее ни малейших трудностей, хотя можно было бы ожидать обратного ввиду сугубой абстрактности этого занятия, однако письмо было для Лени связано со зрительными и осязательными ощущениями, даже с запахами (стоит вспомнить, как по-разному пахнут разные чернила, карандаши, виды бумаги); поэтому ей легко давались даже самые сложные орфографические упражнения и грамматические тонкости; ее почерк, которым она, к сожалению, мало пользуется, был и остается четким и красивым и – как вполне авторитетно заявил бывший директор школы Шлокс (источник информации по всем основополагающим педагогическим вопросам) – способным даже «вызывать эротическое или сексуальное возбуждение». Особенно не везло Лени с двумя близкородственными предметами: Законом Божьим и математикой (в частности счетом). Если бы хоть кто-то из ее учителей или учительниц догадался объяснить еще маленькой, шестилетней Лени, что математика и физика могут приблизить к ней звездное небо, которое Лени так любит, она бы не стала отказываться учить таблицу умножения, вызывавшую у нее такое же гадливое чувство, как у некоторых людей пауки. Нарисованные на бумаге орехи, яблоки, коровы и горошинки, с помощью которых авторы учебников пытаются добиться ощущения реальности при обучении счету, не будили ее воображение; она не была прирожденным математиком, зато была одарена необычайным чутьем к естественным наукам, и если бы ей кроме красных, белых и розовых цветков гороха по Менделю, заполнивших учебники и цветные таблицы, дали

возможность ознакомиться с более сложными генетическими процессами, она, выражаясь высокопарно, непременно погрузилась бы в эту материю «со всей страстью юности». Из-за скудости знаний по биологии, полученных в школе, она лишилась многих радостей, которые наверстывает лишь теперь, уже в возрасте, раскрашивая дешевенькими акварельными красками плакаты, изображающие сложные органические процессы. Ван Доорн рассказывает, что не может забыть одну странную особенность, проявившуюся у Лени еще в раннем детстве, которая до сих пор кажется ей «дикой» и поныне отталкивает свидетельницу не меньше, чем рисунки половых органов, развешанные по стенам комнаты Лени. Еще ребенком Лени проявила острый интерес к деятельности своего кишечника и ее результатам в виде экскрементов, пытаясь – к сожалению, тщетно! – получить ответ на вопрос: «Глядите, что это из меня вылезает?» Но ни ее мать, ни ван Доорн не удовлетворили ее любопытства!

Только второму из двух мужчин, с которыми Лени была близка за свою жизнь, причем именно иностранцу, да к тому же еще и советскому русскому, выпало на долю обнаружить, что Лени способна на удивительные эмоциональные порывы и очень смыслена. Ему же она рассказала – между концом 1943-го и серединой 1945 года она была отнюдь не так молчалива, как нынче, – что к ней, мол, «ощущение полного удовлетворения» впервые пришло в шестнадцать лет, когда она, только что отчисленная из лицея, июньским вечером поехала покататься на велосипеде и, соскочив с него на лугу, легла на землю; «совершенно отрешенно распростершись на траве» (Лени – Маргарет) и глядя на небосвод, где едва проступившие звезды окрашивались последними отблесками вечерней зари, она ощутила в себе такое блаженство, которого молодые люди нынче слишком часто домогаются; у Лени – так, по ее словам, сказанным Маргарет, поведала она об этом Борису, – в этот летний вечер 1938 года распростершейся на теплой траве и «открытой», возникло полное впечатление, что ее «берут», а она «отдается», и потому, как она позже призналась Маргарет, она бы ничуть не удивилась, если бы с этого вечера забеременела. По этой же причине непорочное зачатие Девы Марии отнюдь не кажется ей непостижимым.

Лени покинула лицей с весьма неприглядными оценками, в частности ее успехи по Закону Божьему и математике были аттестованы как «неудовлетворительные». На два с половиной года ее поместили в пансион, где девочек обучали домоводству, немецкому языку, Закону Божьему, начаткам истории (до Реформации), а также музыке (фортепиано).

Прежде чем поставят памятник одной из монахинь, сыгравшей в духовном развитии Лени столь же решающую роль, что и советский русский, о котором впереди еще не раз пойдет речь, необходимо упомянуть трех других, ныне здравствующих, монахинь, которые смогли дать информацию о Лени, хотя со времени их знакомства с нею прошло тридцать два и, соотв., тридцать четыре года; тем не менее они хорошо ее помнят, и, когда авт. с карандашом и блокнотом разыскал их в трех разных местах и произнес имя Лени, все три одинаково воскликнули: «Ну конечно, Груйтен!» Авт. кажется, что эта одинаковая реакция имеет большое значение, поскольку доказывает, что Лени производила на людей сильное впечатление.

Но так как трех монахинь объединяет не только одинаковое восклицание «Ну конечно, Груйтен!», но и некоторые одинаковые внешние черты, ради экономии места можно свести кое-какие детали воедино. Кожа на лице у всех трех была такая, какую называют пергаментной: желтоватая, слегка морщинистая, обтягивающая скулы; все три угостили авт. чаем (или распорядились угостить). Рискуя показаться неблагодарным, авт. тем не менее должен сказать, что чай у всех трех был не очень крепкий; все три угостили его (или распорядились угостить) черствым пирогом; все три закашлялись, когда авт. закурил (намеренно не попросив разрешения, так как боялся, что получит отказ); все три беседовали с авт. в почти одинаковых комнатах для приема гостей, стены которых были украшены гравюрами на религиозные темы, распятием, портретами здравствующего папы и кардинала соответствующего региона; столы в трех разных комнатах для приема гостей были покрыты плюшевыми скатертями, все стулья как на подбор неудобные; все три монахини были примерно одного возраста – между семьюдесятью и семьюдесятью двумя.

Первая из них, сестра Колумбана, была директрисой лицея, в котором Лени проучилась два года со столь скромными успехами. Это эфирное создание с усталыми, очень умными глазами; почти все время, потребовавшееся для интервью, она сидела, грустно покачивая головой; это покачивание означало, что она упрекала себя за неумение выявить заложенные в Лени способности. Она то и дело повторяла: «В ней было что-то, и даже очень сильное, но мы не сумели это выявить». Будучи доктором математических наук, сестра Колумбана и поныне (с лупой) читает специальную литературу и представляет собой законченный тип женщины начальной поры эмансипации, ознаменованной тягой женщин к образованию, который в монашеской рясе, к сожалению, встречает столь мало признания и еще меньше восхищения. В ответ на деликатные вопросы, касавшиеся ее собственной жизни, она рассказала, что уже в 1918 году

носила одежду из дерюги и подвергалась насмешкам, презрению и издевательствам больше, чем нынче какой-нибудь хиппи. Узнав от авт. некоторые подробности о жизни Лени, она несколько оживилась, усталые ее глаза слегка заблестели, и она сказала со вздохом, но и с некоторым восхищением: «Крайность, во всем крайность – да, именно так должна была сложиться ее жизнь». Замечание это несколько озадачило авт. Прощаясь, он пристыженно взглянул на четыре окурка, вызывающе вульгарно торчавшие из пепла в керамической пепельнице, изогнутой в форме виноградного листа, – вероятно, редко используемой и лишь от случая к случаю служащей ложем для потухшей сигары какого-нибудь прелата.

Вторая монахиня, сестра Пруденция, в свое время обучала Лени немецкому языку; она показалась авт. менее утонченной, нежели сестра Колумбана, а также более румяной, что отнюдь не означает, будто на ее щеках играл румянец; просто ее прежний розовый цвет лица еще слегка проступал сквозь теперешнюю блеклость, в то время как лицо сестры Колумбаны светилось прозрачной бледностью, явно свойственной ему еще в юности. Сестра Пруденция (смотри выше ее реакцию на имя Лени!) добавила авт. несколько неожиданных штрихов к портрету Лени тех лет. Она сказала: «Я ведь сделала все возможное, чтобы ее не выгнали из школы, но ничего не вышло, хотя по своему предмету я поставила ей хорошую оценку, и сделала это вполне обоснованно: она написала прямо-таки великолепное сочинение о новелле «Маркиза д’О...». Чтение этой новеллы, знаете ли, считалось нежелательным и даже запрещалось, поскольку в ней встречались некоторые, так сказать, неприличные вещи; но я тогда полагала и сейчас полагаю, что четырнадцатилетние девочки могут спокойно об этом читать и думать, а тут эта Груйтен написала нечто воистину великолепное: она выступила пламенной защитницей графа Ф..., выказав такую удивительную способность проникновения в мир – ну, скажем, половых ощущений мужчины, – которая меня поразила... Это было великолепно, и я чуть не поставила ей пятерку, но тут вылезла эта двойка, а в сущности, даже единица по Закону Божьему – просто пожалели девочку и поставили двойку вместо единицы, – а кроме того, еще и безусловная, наверняка вполне обоснованная двойка по математике, которую ей вынуждена была поставить сестра Колумбана, плача от жалости, но не считая себя вправе кривить душой... Вот Груйтен и вылетела... То есть ушла из лицея, ей пришлось уйти».

Из монахинь и учительниц пансиона, в котором Лени продолжала свое образование с четырнадцати до шестнадцати лет, удалось разыскать только третью из представленных здесь монахинь, сестру Цецилию. Именно она в

течение двух с половиной лет давала Лени частные уроки игры на фортепиано; сразу же почуяв в Лени музыкальную одаренность и возмущаясь, прямо-таки впадая в отчаяние от ее неспособности читать ноты и даже в уже прочитанных нотах соотносить знак со звуком, она потратила шесть первых месяцев на то, чтобы Лени прослушивала пластинки и потом просто подбирала прослушанное на рояле, – эксперимент, как признала сестра Цецилия, хоть и сомнительный, но в данном случае вполне удавшийся, который – по ее словам – доказал, что «Лени способна схватывать не только мелодии и ритмы, но и разобраться в структуре музыкальных произведений». Но как было научить Лени (бесчисленные вздохи сестры Цецилии!) неизбежному: чтению нот? Ей пришла в голову почти гениальная мысль: попытаться сделать это обходным путем, с помощью географии. Хотя курс географии был весьма скудный и сводился в основном к перечислению, показу на карте и вызубриванию названий притоков Рейна и горных массивов или местностей, по которым они протекают. И что же: Лени научилась-таки читать карту: извилистая черная линия между Хунсрюком и Айфелем, то есть река Мозель, воспринималась Лени не только как черная извилистая линия, а как условное обозначение действительно существующей реки. Вот так-то. Эксперимент удался: Лени научилась читать ноты, – правда, с трудом, преодолевая отвращение, часто даже плача от злости, но научилась. А поскольку сестра Цецилия получала от отца Лени за уроки довольно солидную плату, которая шла в монастырскую кассу, она считала себя обязанной «чему-то научить Лени». Это ей удалось. «Но больше всего меня восхитило в Лени то, что она сразу поняла: Шуберт для нее предел; попытки пойти дальше проваливались так явно, что я даже сама ей посоветовала оставаться в своих границах, хотя ее отец настаивал, чтобы она играла Моцарта, Бетховена и так далее».

Еще одно замечание касательно кожи сестры Цецилии: местами она была еще мягкая и молочно-белая, не такая сухая, как у двух других монахинь; авт. чистосердечно признается, что он ощутил – вероятно, фривольное по своей сути – желание увидеть более обширные участки кожи этой необычайно любезной старушки-девственницы, пусть даже это желание вызовет у кого-нибудь подозрение в геронтофилии. Однако, когда авт. спросил сестру Цецилию о другой монахине того же ордена, сыгравшей очень важную роль в жизни Лени, она, к сожалению, сразу замкнулась и приняла неприступный и даже враждебный вид.

Здесь можно лишь намекнуть на то, что потом, в ходе повествования, удастся, может быть, доказать: Лени – непризнанный гений чувственности. К сожалению, на нее длительное время навешивали ярлык, который многих устраивал своим

удобством: ее называли «глупой гусыней». Старик Хойзер даже признался, что и ныне числит Лени по этому разряду.

Можно было предположить, что Лени, всю жизнь питавшая большой интерес к еде, прекрасно успевала на уроках кулинарии, а домоводство должно было бы быть ее любимым предметом. Какое там! Кулинарная наука – хотя занятия и проводились у плиты и разделочного стола, а в качестве наглядных пособий использовались материалы, имеющие запах, вкус и осязаемую структуру, – показалась ей абстрактнее математики и такой же нечувствительной, как Закон Божий (если авт. правильно понял некоторые реплики сестры Цецилии). Трудно установить, погибла ли в Лени отличная кулинарка, но еще труднее доказать, не считала ли Лени блюда, приготовленные на занятиях кулинарией, «безвкусными» из-за гипертрофированного страха монахинь перед острыми приправами. Бесспорно, к сожалению, одно: хорошей кулинарки из нее не получилось. Ей удаются только супы, да и то не всегда, а также десерты; кроме того, она – что отнюдь не само собой разумеется – прекрасно варит кофе и в свое время с большой любовью готовила еду для малыша (засвидетельствовано М. в. Д.), но стряпать нормальную пищу так и не научилась. Подобно тому, как соус может быть загублен одним лишним движением руки, добавляющей в него приправу, – движением столь же интуитивным, сколь и не поддающимся никаким закономерностям, – так и религиозное воспитание Лени потерпело полный крах (или, лучше сказать: к счастью, не удалось). Когда речь шла о хлебе, вине или благословении наложением рук, то есть если дело касалось чего-то земного и материального, она не испытывала никаких трудностей. И ныне ей не составляет никакого труда поверить, что человека можно излечить, помазав его слюной. Но разве кто-нибудь станет мазать другого слюной? А вот она не только лечила слюной и своего русского друга, и собственного сына, но и простым наложением рук внушала ощущение счастья русскому и успокаивала своего маленького сына (Лотта и Маргарет). Но разве кто-нибудь сейчас прибегает к наложению рук? И что это был за хлеб, который ей дали вкусить во время первого святого причастия (последняя церковная церемония, в которой Лени принимала участие)? И куда, черт побери, подевалось вино? Почему ей его не дали? А вот истории о падших женщинах и прочих, весьма многочисленных, женщинах, с которыми общался Сын Девы Марии, ей чрезвычайно нравились и могли бы привести в экстаз так же, как привел вид звездного неба.

Можно себе представить, что Лени, всю жизнь обожавшая свежие булочки к завтраку и ради них даже сносившая насмешки соседей, ожидала первого причастия с жадным нетерпением. Но в лице ее не допустили к конфирмации – за то, что она во время занятий, готовивших учениц к святому таинству,

неоднократно теряла терпение, перебивала учителя Закона Божьего, уже тогда довольно пожилого, седовласого и очень аскетичного человека, к сожалению, умершего лет двадцать назад, да и после занятий с детским упрямством приставала к нему с просьбами: «Ну пожалуйста, пожалуйста, дайте мне этот хлеб жизни! Почему я должна так долго ждать?» Учитель этот, от которого до нас дошло лишь имя – Эрих Брингс – и несколько публикаций, счел невыдержанность Лени «преступной». Он был возмущен этим требованием, которое для него означало «чувственное желание». Естественно, он резко отклонял ее просьбы и на два года отложил ее участие в церемонии из-за «проявленной незрелости и неспособности постичь значение Святых Даров». Имеются два свидетеля этого происшествия: старик Хойзер, который очень хорошо все помнит и имеет все основания сказать, что «тогда еле-еле удалось избежать скандала» и лишь по внутривнутриполитической причине, а именно из-за угрозы, нависшей над монастырями (1934 год!), о которой Лени не имела никакого понятия, было решено «не предавать инцидент широкой огласке». Вторым свидетелем выступает сам старый учитель Закона Божьего, чьим коньком была «теория частиц»; учитель этот мог месяцами, а то и годами рассуждать, что могло бы, должно или обязано было бы случиться с частицами облаток при всех казуистически мыслимых обстоятельствах. И вот этот-то господин, по сию пору пользующийся некоторой известностью как специалист по частицам, позже опубликовал в одном литературно-теологическом журнале статью «Очерки моей жизни» и среди прочего изложил и случай с Лени, которую он весьма неделикатно и прозрачно именует «некая Л. Г., к тому времени достигшая двенадцати лет». Он описывает ее «горящие глаза», ее «чувственный рот», насмешливо отзывается о ее диалектально окрашенном произношении, характеризует дом ее родителей как «типичный вульгарный дом нуворишей» и заканчивает все это фразой: «В исполнении столь по-пролетарски выраженного конкретного требования вкусить святых даров я был, естественно, вынужден отказать». Родители Лени не отличались большой набожностью и не были ревностными прихожанами, однако разделяли взгляды своей среды и окружения, поэтому сочли тот факт, что «Лени не причащалась, как все», большим упущением и даже позором для своей репутации и заставили Лени «поступить как все», когда ей уже стукнуло четырнадцать и она училась в пансионе. А поскольку Лени к тому времени – по достоверному свидетельству Марии ван Доорн – уже созрела как женщина, то церковное торжество потерпело полную неудачу, равно как и мирское. Лени так жаждала получить эту частицу хлеба, все ее чувства были напряжены ожиданием блаженства. «И вот (так описывала она это событие Марии ван Доорн, выслушавшей ее с возмущением) сунули мне в рот этот белесый, крохотный, сухой, абсолютно безвкусный кусок. Да я его чуть не выплюнула!» Мария несколько раз

перекрестилась; она не могла понять, почему столь ощутимые, земные, великолепные вещи, как свечи, ладан, органная музыка, пение хора, не помогли Лени преодолеть разочарование. Даже подобающая для таких случаев праздничная трапеза со спаржей, ветчиной, ванильным мороженым и взбитыми сливками не помогла. То, что Лени сама в некотором роде «сторонница теории частиц», она доказывает ежедневно, собирая с тарелки и отправляя в рот все хлебные крошки (Ганс и Грета).

В этом повествовании мы стараемся по возможности избегать скромных тем, однако ради полноты картины нельзя не сообщить, как именно вводил в мир интимных отношений своих выпускниц, молодых девушек от шестнадцати лет (самая младшая) до двадцати одного года (самая старшая), учитель Закона Божьего – молодой еще, но тоже аскетичный человек по фамилии Хорн, который лишь под нажимом директрисы пансиона допустил Лени к первому причастию. Беседы свои он вел елейным голосом и пользовался исключительно кулинарной терминологией; даже намеком не коснувшись точных биологических деталей, он сравнил половой акт, который он назвал «необходимым процессом продолжения рода», с «клубникой со взбитыми сливками», пустился в импровизированные сравнения, имевшие целью описать позволительные и непозволительные поцелуи, причем «сдобные булочки» играли вполне понятную девушкам роль. Необходимо отметить, что, пока учитель елейным голосом расписывал в немыслимых деталях поцелуи и другие процессы полового акта, прибегая к немыслимой, исключительно кулинарной терминологии, Лени покраснела в первый раз в жизни (Маргарет), а поскольку сама она была не способна к раскаянию и в силу этого обстоятельства воспринимала исповедь как простую формальность и говорила первое, что приходило ей в голову, то очевидно, что объяснения учителя затронули в ней какие-то эмоциональные центры, до сих пор не обнаруженные учеными. И если уж мы пытаемся описать как можно более достоверно естественную, простонародную, почти гениальную чувственность Лени, то нельзя не добавить: она не была циничной. Поэтому тот факт, что она покраснела впервые в жизни, можно считать сенсационным. Во всяком случае, внезапно залившись краской, Лени была потрясена и восприняла это явление, совершенно не поддающееся контролю рассудка, как из ряда вон выходящее, мучительное и ужасное. Не стоит еще раз подчеркивать, что в Лени, видимо, до поры до времени дремало ожидание необычайных эротических и сексуальных событий, а тот факт, что учитель Закона Божьего объяснял эти вещи так же, как, расхваливая, выдавал причастие за Святые Дары, увеличил ее возмущение, а не испытанный ею дотоле прилив крови к голове привел ее в полное смятение. Красная как рак и вне себя от гнева, она попросту убежала с

урока, пробормотав нечто нечленораздельное, за что получила еще одну двойку в выпускном свидетельстве, уже по Закону Божьему. Кроме того, на уроках Закона Божьего ей беспрестанно вдабливали, не пробуждая в ней никакого интереса, названия трех священных гор западного мира – Голгофы, Акрополя и Капитолия, причем к Голгофе она испытывала некоторое любопытство; из Библии она знала, что это не гора, а холм, и расположена не на западе. А если учесть, что Лени все же запомнила на всю жизнь «Отче наш» и «Ave Maria» и даже по сей день прибегает к этим молитвам, что она, кроме того, знает отрывочно еще несколько молитв и запросто общается с Девой Марией, то, вероятно, уместно будет заключить, что люди проглядели религиозный дар Лени точно так же, как и ее необычайную чувственность, и что в ней можно было бы открыть и развить незаурядную мистическую одаренность.

Ну, а теперь пора наконец хотя бы набросать проект памятника одной особе женского пола, которую, к величайшему сожалению, нельзя уже ни разыскать, ни пригласить или призвать для дачи показаний: она умерла в конце 1942 года при поныне не выясненных обстоятельствах, не в результате прямого насилия, но в результате угрозы прямого насилия, а также преступного равнодушия окружающих. Упомянутый выше Б. Х. Т. и Лени были, вероятно, единственными людьми, которых любила покойная; ее мирского имени не удалось обнаружить даже путем весьма настойчивых расследований, равно как и места ее рождения и социальной среды, из которой она вышла; известно лишь – для этого у авт. имеется достаточно свидетелей: Лени, Маргарет, Мария и тот самый букинист, в те годы лишь ученик букиниста, который счел для себя лучшим ограничиться лишь упоминанием своих инициалов Б. Х. Т., – ее монашеское имя: сестра Рахиль. Известно, кроме того, и ее прозвище: Гаруспика. В те годы, когда она общалась с Лени и этим Б. Х. Т. (1937/38), ей было лет сорок пять. Она была маленькая, жилистая (только Б. Х. Т., даже не Лени, рассказала она о том, что была некогда чемпионкой Германии среди женщин по бегу с барьерами на 80 метров!); не исключено, что и в 1937/38 году у нее были веские основания скрывать подробности своего происхождения и образования – она была, как тогда выражались, «высокообразованной личностью», это отнюдь не исключает возможности того, что она в свое время получила первую и, вполне вероятно, даже и вторую ученую степень, – естественно, под другим именем. Рост ее может быть указан, к сожалению, лишь по свидетельским показаниям: примерно 1 метр шестьдесят сантиметров; вес – приблизительно 50 килограммов; волосы – черные с проседью; глаза – голубые; не исключено, что она была кельтского происхождения, а может быть, и еврейского. Упомянутый выше Б. Х. Т., ныне работающий библиотекарем без диплома в городской библиотеке средней руки

над составлением каталогов букинистических книг и оказывающий определенное влияние на пополнение библиотечных фондов, производит впечатление человека, плохо сохранившегося для своих лет, приятного в общении, хотя и не очень инициативного и темпераментного; судя по всему, он был влюблен в эту монахиню, несмотря на разницу в возрасте лет этак в двадцать. Тот факт, что ему удалось до 1944 года уклоняться от службы в армии, благодаря чему он и смог стать для авт. missing link – «недостающим звеном» между Лени и сестрой Рахилью, свидетельствует о его упорном и целенаправленном интеллекте (как-никак, когда его на пятый год войны все же призвали, он был, по его словам, двадцатishестилетним здоровяком).

Во всяком случае, он оживился, даже, можно сказать, воодушевился, когда речь зашла о сестре Рахили. Он не курит, холост и – судя по запахам в его трехкомнатной квартире с ванной – отличный кулинар. Только старинные книги он считает достойными внимания, новые издания презирает: «Новая книга – не книга» (Б. Х. Т.). Он рано облысел, питается, вероятно, хорошо, но не разнообразно, в результате чего склонен к полноте; об этом свидетельствуют пористый нос и небольшие припухлости за ушами, которые авт. заметил во время своих неоднократных визитов к Б. Х. Т. По натуре он не слишком разговорчив, но когда речь заходит о Рахили – Гаруспике, тут же начинает изливать душу, а к Лени, которую он знает лишь по рассказам сестры Рахили как «необычайно красивую светловолосую девушку, которой предстоит пережить много радостей и много горя», он относится с такой юношеской пылкостью, что авт., будь у него склонность к таким вещам и не будь он сам влюблен в Лени, мог бы поддасться соблазну свести этих двух людей теперь, с опозданием в тридцать четыре года. Какими бы еще (тайными и явными) странностями ни отличался этот Б. Х. Т., ясно одно: он – человек верный. Возможно, он верен и самому себе.

Можно было бы еще многое рассказать об этом молодом человеке, однако это излишне, так как Б. Х. Т. почти не имеет прямого отношения к Лени и может пролить на интересующие авт. вопросы лишь отраженный свет.

Было бы ошибкой считать, что в этом пансионе-интернате Лени пришлось много страдать; отнюдь, ей там отлично жилось, с ней случилось то, что случается лишь с баловнями судьбы: она попала в хорошие руки. На уроках она узнавала более или менее интересные вещи; частные уроки у спокойной и приветливой сестры Цецилии были для нее важны и принесли свои плоды. Но решающим в судьбе Лени, по крайней мере не менее решающим, чем в дальнейшем встреча с

советским человеком, стало знакомство с сестрой Рахилью, которую (1936 год!) не допустили к занятиям с ученицами и которая выполняла самые непрестижные для монахини обязанности: она была (по выражению учениц) «коридорной сестрой», что соответствовало социальному статусу самой обыкновенной уборщицы. Ей полагалось вовремя будить девочек утром, следить за тем, чтобы они как следует умылись, объяснять им – что упорно отказывалась делать сестра, преподававшая биологию, – те процессы, которые происходили в них и с ними, когда у них вдруг начиналось то, что бывает у всех женщин; кроме этого, у нее была еще одна обязанность, которую все остальные сестры считали отвратительной и унижительной, а сестра Рахиль выполняла прямо-таки с энтузиазмом, любовью и тщанием, а именно: осмотр и оценка результатов пищеварительного процесса у учениц как в твердом, так и в жидком виде. Девочкам вменялось в обязанность не смывать отработанные шлаки, пока сестра Рахиль не обследует их. Сестра Рахиль производила эту операцию с таким спокойствием и с такой уверенностью в правильности своего диагноза, что ее подопечные, девочки четырнадцати лет, даже терялись. Нужно ли говорить о том, что Лени, чей интерес к собственному пищеварению до той поры оставался неутоленным, стала прямо-таки восторженной поклонницей Рахили? В большинстве случаев Рахили достаточно было одного взгляда, чтобы дать точную оценку физического и психического состояния той или иной из девочек, а поскольку она предсказывала по стулу и грядущие оценки, то накануне контрольных работ девочки буквально осаждали ее, так что прозвище Гаруспики прочно прилипло к ней (с 1933 года); прозвище это придумала ее бывшая воспитанница, впоследствии пробовавшая свои силы на ниве журналистики. Предполагалось (и Лени, позже ставшая доверенным лицом Рахили, подтвердила это), что сестра ведет журнал точного учета своих наблюдений. Прозвище свое она почитала вполне заслуженным и даже им гордилась. Если исходить из того, что учебный год насчитывает в среднем двести сорок дней, число учениц – двенадцать, а количество лет на посту коридорной сестры (своего рода монастырского унтер-офицера) – пять, то легко подсчитать, что сестра Рахиль занесла в журнал и кратко охарактеризовала около двадцати восьми тысяч восьмисот испражнений; по информативности журнал этот мог бы стать неоценимым подспорьем для специалистов – уринологов и копрологов. Но его, вероятно, просто-напросто уничтожили! Анализ поведения и выражений, свойственных сестре Рахили, проведенный авт. по сообщениям из первых рук (Б. Х. Т.), а также из вторых рук (рассказы Лени, со слов Марии) и опять из первых (Маргарет), позволяют предположить, что образованность Рахили складывалась из знаний в трех научных областях: в медицине, биологии и философии – и что все эти знания сильно окрашивались теологией отчетливо мистического направления.

Сестра Рахиль вмешивалась и в те области, за которые никакой ответственности не несла, а именно в косметологию: уход за волосами, кожей, глазами, ушами; она давала также советы по части причесок, обуви, белья, а если учесть, что она рекомендовала черноволосой Маргарет носить бутылочно-зеленый цвет, а блондинке Лени – спокойный красный, что на совместный вечер пансиона с мужским католическим интернатом посоветовала Лени надеть туфли цвета киновари, а для ухода за кожей пользоваться миндальными отрубями, что считала ледяную воду для умывания не безусловно, а лишь условно полезной, то можно в целом кратко сказать, кем она не была: она не была суровой схимницей. Если еще добавить, что она не только не отговаривала, а, наоборот, уговаривала девушек пользоваться губной помадой – разумеется, в меру и в соответствии с типом лица, – то становится ясно, что сестра Рахиль намного обогнала свое время и свою среду. Особенно требовательна она была к уходу за волосами и прямо-таки настаивала на длительном массаже головы щеткой, особенно по вечерам.

Положение ее в пансионе было весьма неопределенное. Большинство монахинь относились к ней как к чему-то среднему между уборщицей при туалете и просто уборщицей, что было с их стороны более чем гадко, даже если бы она на самом деле и была ею. Некоторые из них ее уважали, другие боялись; с директрисой она находилась в сложных отношениях, характеризующихся как «перманентно напряженное уважение» (Б. Х. Т.). Впрочем, и директриса, строгая, интеллигентная, красивая женщина с пепельными волосами, которая спустя год после ухода Лени из лицея сбросила монашескую рясу и вступила в нацистскую женскую организацию, не отвергала советов Рахили по части косметики, хотя это и противоречило самому духу монастыря. Памятуя, что директрису прозвали Тигрессой, что основным ее предметом была математика, а побочными – французский язык и география, легко понять, что поведение Гаруспики казалось ей «фекальной мистикой», то есть смешным и отнюдь не опасным. Она считала недостойным дамы удаивать свои экскременты (по словам Б. Х. Т.) хотя бы одного-единственного взгляда, и вообще все это было в ее глазах «язычеством», хотя (опять-таки по словам Б. Х. Т.) именно язычество, по всей вероятности, и подтолкнуло ее позже стать членом нацистской женской организации. Справедливости ради надо заметить (опять Б. Х. Т.), что и после ухода из монастыря директриса не предала Рахили. Лени, Маргарет и Б. Х. Т. в один голос характеризуют ее как «гордую особу». Хотя, судя по всем полученным авт. свидетельствам, женщина она была чрезвычайно красивая и, наверняка «эротически притягательная» (Маргарет), но и сложив с себя монашеский сан, не вышла замуж, вероятнее всего, из гордости: не хотела показаться слабой, обнаружить перед кем-то свои уязвимые места. Она

занимала высокий пост, ведая политикой в области культуры и имея чин обер-регирунгсрата, а в конце войны, не дожив до пятидесяти, сгинула где-то между Львовом и Черновцами. Весьма прискорбно. Авт. очень хотелось бы «допросить ее по делу» сестры Рахили.

Рахили в интернате не доверяли сколько-нибудь серьезных педагогических и врачебных функций, тем не менее она выполняла и те и другие; ей вменялось в обязанности лишь сообщать о явных случаях заболеваний – остром поносе или подозрении на опасность инфекции, а также о случаях особой нечистоплотности при отправлении естественных надобностей или нарушениях общепринятых правил нравственности. Последнего она никогда не делала. Зато очень большое значение придавала маленькой лекции о гигиене после отправления естественных надобностей обоих видов, которую она устраивала для учениц в первый же день их пребывания в интернате. Указав, как важно поддерживать эластичность и работоспособность всех мышц, в особенности мышц нижней части живота, и порекомендовав для этой цели легкую атлетику и гимнастику, она быстро переходила к своей излюбленной теме: здоровый и, как она подчеркивала, интеллигентный человек вполне может обходиться при этом отпавлении без единого клочка бумаги. Но поскольку такое идеальное состояние организма недостижимо или редко достижимо, она подробно объясняла, как правильно пользоваться туалетной бумагой.

По словам того же Б. Х. Т. – в данном случае незаменимого свидетеля, – она прочла массу литературы по этим вопросам, почти все, что было о каторге и тюрьмах, и внимательно проштудировала все мемуары заключенных (как уголовных, так и политических). Глупые замечания и хихиканье девочек во время этой лекции она пропускала мимо ушей.

Теперь пора сказать – поскольку это надежно засвидетельствовано Лени и Маргарет, – что сестра Рахиль, обследуя впервые стул Лени, при взгляде на него впала в своего рода экстаз. Обращаясь к Лени, не привыкшей к такому обхождению, она сказала: «Девочка моя, ты родилась под счастливой звездой – как и я».

И когда Лени несколько дней спустя добилась статуса «безбумажницы» – просто потому, что ей нравилось это «мышечное упражнение» (слова Лени, сказанные Марии и подтвержденные Маргарет), между ней и сестрой Рахилью возникла прочная симпатия, которая помогла девочке снести все ожидавшие ее впереди неудачи с учебой.

Было бы, однако, неправильно полагать, что гениальная одаренность сестры Рахили проявлялась только в сфере экскрементов. Она получила разностороннее образование – сначала биологическое, затем медицинское, позже еще и философское, приняла католичество и ушла в монастырь, дабы «помочь молодежи разобраться» в сложном комплексе медико-биологических и философско-теологических познаний; но уже в первый год ее педагогической деятельности Генеральный совет католической церкви в Риме заподозрил ее в биологизме и мистическом материализме и лишил ее права преподавать; разжалование в коридорную сестру имело своей истинной целью сделать для Рахили жизнь в монастыре нестерпимой и «с почетом» выставить ее в мир (слова Рахили, сказанные ею Б. Х. Т.); однако она не только приняла, но и внутренне ощутила и расценила свое понижение в должности как повышение, увидев для себя в роли коридорной сестры гораздо больше возможностей применить свои знания, чем при проведении классных занятий. Поскольку ее трения с монастырскими властями пришлось как раз на 1933 год, они решили отказаться от намерения просто-напросто выгнать ее из монастыря, так что она еще пять лет пробыла в интернате «уборщицей при туалете» (Рахиль о Рахили в разговоре с Б. Х. Т.). Чтобы пополнить запасы моющих средств, туалетной бумаги и различной антисептики, а также постельного белья и прочего, ей приходилось время от времени ездить на велосипеде в соседний университетский город средней величины; там она проводила много часов в университетской библиотеке, а позже – в том большом букинистическом магазине, где возникла платоническая и в то же время страстная дружба между ней и Б. Х. Т. Последний разрешил ей вволю рыться в фондах своего хозяина и, нарушая правила, даже предоставлял в ее распоряжение подсобный каталог, предназначенный для внутреннего пользования; он позволял ей сидеть с книгой в разных укромных уголках магазина, угощал ее кофе из своего термоса, а иногда, если она засиживалась слишком долго, даже делился с ней бутербродами. Интересовалась она главным образом книгами по фармакологии, мистике, биологии и травам и за два года стала специалисткой в весьма щекотливой области скатологических нарушений – естественно, в той мере, в какой они были описаны в мистической литературе, обильно представленной в лавке букиниста.

Несмотря на то, что авт. сделал все, буквально все от него зависящее, чтобы выяснить происхождение сестры Рахили и среду, в которой она выросла, он не смог узнать больше того, что ему сообщили Б. Х. Т., Лени и Маргарет; второй и третий визиты к сестре Цецилии не пролили нового света на образ ее бывшей монастырской сестры; настойчивость авт. привела лишь к тому, что сестра Цецилия покраснела; авт. чистосердечно признается, что зрелище зардевшейся

старушки семидесяти с лишним лет с островками молочно-белой кожи доставило ему удовольствие. Четвертая попытка – авт. был, как видите, необычайно настойчив – потерпела крах уже у монастырских ворот: его просто не пустили. Удастся ли ему узнать больше о сестре Рахили в архиве ордена и именной картотеке в Риме, зависит от того, выкроит ли он время и деньги для поездки в Рим, а главное – будет ли ему разрешен доступ к секретным досье ордена. Авт. считает своим долгом напомнить читателю положение сестры Рахили в 1937/38 годах: маленькая дотошная монахиня, помешанная на мистике и биологии, подозреваемая в увлечении скатологией, обвиняемая в биологизме и материалистическом мистицизме, сидит в темном уголке букинистического магазина и берет из рук молодого, в ту пору отнюдь не лысого и не оплывшего жирком молодого человека чашку кофе и бутерброды. Для этой жанровой сценки, достойной кисти голландского художника масштаба Вермеера, потребовался бы ярко-красный фон и кроваво-красные облака, дабы отразить внутри- и внешнеполитическую ситуацию тех лет, ибо надо помнить, что в это время где-то беспрестанно маршировали колонны штурмовиков, а угроза войны в 1938 году была сильнее, чем в следующем, когда она действительно разразилась. И пусть даже страстный интерес Рахили к проблемам пищеварения покажется кому-то излишне мистическим, а изучение ею функций желез внутренней секреции (дошедшее до исступленных попыток выяснить точный химический состав того вещества, которое называют спермой) просто никчемным, в одном ей нельзя отказать: именно она, основываясь на собственных (недозволенных) опытах с мочой, дала молодому букинисту совет, который помог тому уклониться от службы в вермахте; прихлебывая его кофе (который Рахиль ухитрялась проливать даже на особо ценные библиографические редкости – она почти не обращала внимания на внешний вид книг), она подробно объяснила ему, что следует есть и пить, какие микстуры и таблетки принимать, чтобы анализ мочи накануне прохождения медицинской призывной комиссии обеспечил ему не кратковременную отсрочку от призыва, а диагноз «негоден», действующий длительное время; во всяком случае, общие познания Рахили и вычитанные из книг сведения дали ей возможность набросать «поэтапный план» для мочи Б. Х. Т. (точные слова Рахили, приведенные самим Б. Х. Т.), гарантировавший достаточно высокое содержание белка даже при одно-, двух- и трехдневном содержании в госпитале и проведении анализов с самыми различными реагентами. Приводим это сообщение лишь для удовлетворения тех читателей, которым в этой книге не хватает политики. К сожалению, Б. Х. Т. был слишком труслив, чтобы подробно передать «поэтапный план» Рахили другим молодым призывникам. Будучи служащим, он боялся трений с вышестоящим начальством.

Наверное, Рахили доставили бы огромную радость (предположение авт.), если бы добились для нее разрешения хотя бы в течение недели отправлять те же обязанности и провести те же исследования, что и у девочек, в интернате для юношей. Поскольку в те годы было мало литературы о различиях в пищеварении у мужчин и женщин, ей приходилось довольствоваться собственными догадками, вскоре перешедшими в предубежденность: она считала почти всех мужчин «запорниками». Если бы желание Рахили стало известно в Риме или еще где-то, ее наверняка немедленно отлучили бы от церкви и выставили из монастыря.

С тем же страстным интересом, с каким Рахиль всматривалась в содержимое ночных горшков, вглядывалась она по утрам и в глаза своих подопечных и предписывала им промывание, для которого у нее всегда стояли наготове маленькие ванночки и кувшин с родниковой водой: она всегда тотчас обнаруживала любой, самый незначительный симптом воспаления или трахомы и каждый раз объясняла девочкам с жаром, немного превосходящим тот, что пронизывал ее описание процессов пищеварения, что сетчатка наших глаз имеет ту же толщину (или «тонину»), что и папиросная бумага, но состоит из трех слоев клеток – чувствительных, ди-полярных и ганглиозных – и что в одном только первом слое, который в три раза тоньше папиросной бумаги, содержится шесть миллионов колбочек и сто миллионов палочек и что расположены они по поверхности сетчатки отнюдь не равномерно. Она внушала девочкам, что наши глаза – необычайное и незаменимое сокровище, что сетчатка – один из примерно четырнадцати слоев глаза – сама членится на семь или восемь слоев, что каждый из них отделен от другого; а когда заводила речь о ворсинках, сосочках, ганглиях и ресничных мускулах, время от времени кто-нибудь из учениц произносил шепотом ее второе прозвище: «Ворсинка».

Нужно помнить, что Рахили лишь иногда выпадало время для бесед с ученицами: день у них был расписан по минутам, к тому же в глазах большинства учениц она и впрямь отвечала лишь за туалетную бумагу. Но, конечно, она говорила с ними и о поте, гное, менструальной крови и – особенно подробно – о слюне; авт. полагает почти излишним упоминать, что она была рьяной противницей слишком рьяной чистки зубов, – во всяком случае, терпела яростную чистку зубов сразу после сна, лишь поступившись своими убеждениями после категорических протестов родителей. И осматривала она по утрам не только глаза девочек, но и их кожу – к сожалению, лишь на руках и плечах, – не дотрагиваясь до груди и живота, поскольку родители девиц несколько раз жаловались, что она их бесстыдно ощупывает. Позже она стала говорить девочкам, что если внимательно прислушиваться к собственному

организму, то начнешь его понимать, и взглянуть на экскременты нужно, в сущности, лишь для подтверждения того, что сама ощущаешь, проснувшись: вполне ли хорошо себя чувствуешь; и что, приобретя известный опыт, уже не нужно на них и глядеть – разве что в тех случаях, когда человек не вполне уверен в своем состоянии и нуждается в некоем подтверждении (Маргарет и Б. Х. Т.).

Когда Лени прогуливала занятия, сказавшись больной, что с течением времени случалось все чаще, сестра Рахиль даже разрешала ей иногда выкурить у себя в комнатке сигарету, – Рахиль объяснила Лени, что в ее возрасте для женщины вредно курить больше трех-пяти сигарет в день, а когда вырастет, не должна выкуривать больше семи-восьми, во всяком случае – не больше десяти. Как тут не оценить по достоинству эффективность этого воспитания, если вспомнить, что Лени и в сорок восемь лет все еще придерживается этого правила и что она недавно приступила к осуществлению своей давней мечты, донине откладывавшемуся за недостатком времени: на листе коричневой оберточной бумаги размером полтора на полтора метра (ватман такого размера при нынешнем состоянии ее финансов для нее недоступен) она рисует анатомически точно поперечный разрез одного слоя сетчатки; Лени на самом деле полна решимости изобразить на бумаге шесть миллионов колбочек и сто миллионов палочек с помощью принадлежавшего еще ее сыну детского набора акварельных красок, к которому она время от времени прикупает дешевые разрозненные краски. Если учесть, что за день она не успевает нарисовать больше пятисот колбочек или палочек, а в год, соответственно, – около двухсот тысяч, то нам станет ясно, что этого занятия ей хватит на пять лет, и мы, может быть, поймем, что свою работу в цветоводстве она бросила именно ради того, чтобы иметь возможность рисовать эти колбочки и палочки. Она назвала свою картину «Часть сетчатки левого глаза Девы Марии по имени Рахиль».

Кто удивится, узнав, что, рисуя, Лени поет? К известным ей стихам она не долго думая подбирает мелодии то из Шуберта, то из народных песен, а то и с пластинок, которые слышит «во дворе и в доме» (Ганс), перемежая их ритмами и мелодиями собственного сочинения, которые вызывают у такого ценителя, как Ширтенштайн, «не только умиление, но и почтительное уважение» (Ширтенштайн). Вокальный репертуар Лени намного обширнее, чем фортепианный; в распоряжении авт. имеется магнитофонная лента, записанная для него Гретой Хольцен, при прослушивании которой он (авт.) чуть ли не каждый раз проливает слезы. Поет Лени довольно тихо и бесстрастно, но чувствуется, что голос у нее сильный и что она приглушает его из застенчивости. Она поет как человек, сидящий в застенке. Что же она поет?

Видишь в зеркале свой образ

сумеречно серебристый

и тебе чужой твой образ

страшен этот образ чистый

Живу в нищете и грешу по обету

Лишь грех услаждает невинность мою

Мы все попадаем на эту планету

За то что грешили в небесном раю...[1 - Здесь и далее в романе стихи в переводе В. Микушевича.]

То голос был чудеснейшей из рек, рожденного свободным Рейна, – но есть ли человек, оставшийся свободным весь свой век, исполнивший души прекрасные порывы, – подобно Рейну, спустившись с высоты и, как и он, родившись в священном лоне?

Поняв уже первой военной весной: надежды на мир пропали, солдаты сделали выбор свой и смертью героев пали.

Но я знал тебя лучше

чем знаю людей

Понимал я молчанье Эфира

не понимая людей никогда...

Любить я учился среди цветов...

Последний из приведенных стишков Лени поет особенно часто, он записан на магнитофонной ленте в четырех различных вариантах, один раз даже в ритме битлов.

Как мы видим, Лени довольно свободно обращается с текстами, слывущими каноническими, и по своей воле комбинирует не только музыкальные

фрагменты, но и слова.

Голос вольнорожденного Рейна – Господипомилуй

Любить я учился среди цветов – Господипомилуй

Долой иго тиранов – Господипомилуй

Живу в нищете и грешу по обету – Господипомилуй

Девчонкой любила я с небом лазурным – Господипомилуй

И по-мужски меня небо ласкало – Господипомилуй

Угрюмый мрамор предков сед – Господипомилуй

Пока не выскажется существо мое, тайна души моей —

Господипомилуй...

Таким образом, мы видим, что Лени не просто занята делом, но что дело это – творческое.

Лени, пугавшейся каждый раз, как у нее начиналось то, что бывает у всех женщин, Рахиль объяснила, что такое половой акт, во всех деталях и не прибегая к совершенно неуместной символике, так что ни Лени, ни ей самой совершенно не пришлось краснеть; правда, такие объяснения надо было держать в тайне, ибо они, естественно, не входили в круг обязанностей Рахили. Вероятно, именно эти объяснения – причина того, что Лени спустя полтора года так сильно залилась краской от злости, когда во время официальной беседы на ту же тему преподаватель сравнил этот акт с «клубникой со взбитыми сливками». А Рахиль, наоборот, говоря о формах фекалий, не боялась использовать термин «классическая архитектура» (Б. Х. Т.).

Кроме того, уже в первый месяц своего пребывания в пансионе Лени нашла настоящую подругу, а именно – ту самую Маргарет Цайст, которую еще до прибытия в пансион аттестовали как «отпетую дрянью»: это была трудновоспитуемая дочь чрезвычайно набожных родителей, которые «не могли с ней справиться», равно как и все ее предыдущие учителя. Маргарет всегда

пребывала в прекрасном расположении духа и считалась «хохотушкой»; темноволосая, маленькая, она по сравнению с Лени казалась прямо-таки болтливой. Через две недели после появления Маргарет в пансионе именно Рахиль при осмотре ее кожи (на плечах и руках) установила, что та имеет дело с мужчинами. Поскольку Маргарет – единственная свидетельница этого события, может быть, стоит отнестись к ее словам с некоторой осторожностью; однако сам авт. склонен считать Маргарет абсолютно заслуживающей доверия. Она полагает, что Рахиль догадалась обо всем не только благодаря своему «почти безошибочному химическому инстинкту», но также и по физическим особенностям кожи Маргарет, о которой Рахиль позже в беседе с ней с глазу на глаз сказала, что ее кожа «как бы излучает ласки – и те, которые она впитала, и те, которые отдала», после чего Маргарет – к ее чести будь сказано – покраснела, не в первый и далеко не в последний раз в своей жизни. Со своей стороны, она призналась Рахили, что ночами удирает из монастыря – как именно, она не скажет – и встречается с деревенскими мальчишками, не с мужчинами. Мужчины ей противны, потому что от них воняет, это она знает по собственному опыту – имела один раз дело с женщиной, а именно – с тем самым учителем, который утверждал, что не может с ней справиться. И добавила своим хрипловатым голосом с рейнскими интонациями: «О-о, уж этот-то еще как со мной справился». Мальчишки-сверстники, сказала она, это как раз то, что надо, а от мужчин воняет. К тому же – добавила она простодушно – так приятно, когда мальчишки радуются, некоторые даже вопят от радости, и тогда она тоже вопит, да и нехорошо, если они «это в одиночку делают»; а ей, Маргарет, доставляет радость доставлять им радость, и здесь нельзя не отметить, что после этих слов Рахиль впервые залилась слезами. «Она так горько плакала, что я даже испугалась, и теперь, лежа здесь, в больнице, с сифилисом и еще бог знает с чем, когда мне уже стукнуло сорок восемь, только теперь я поняла, почему она так плакала» (Маргарет в больнице). Выплакавшись – а длилось это, по словам Маргарет, довольно долго, – Рахиль поглядела на нее задумчиво, но отнюдь не зло, и сказала: «Да, ты девушка легкого поведения». «Выражение это я тогда, конечно, не поняла» (Маргарет). Ей пришлось пообещать – даже торжественно поклясться Рахили, – что она не поведет за собой Лени по той же стезе и не скажет ей, каким путем удирает из пансиона, потому что хоть Лени и написано на роду дарить людям радость, но не в веселом доме. И Маргарет поклялась, и сдержала свою клятву, хотя «вообще-то Лени эта опасность и не грозила, она сама знала, чего хочет». Да, Рахиль была права, именно кожу Маргарет так нежно любили и страстно желали, особенно кожу на груди, – трудно себе даже представить, что вытворяли с ней мальчишки. А когда Рахиль спросила, имеет ли она дело с одним или с несколькими, Маргарет опять покраснела – второй раз за какие-то двадцать минут – и сказала своим

хрипловатым невыразительным голосом с рейнскими интонациями: «За вечер всегда только с одним». И Рахиль опять заплакала и пробормотала сквозь слезы, что скверно то, чем она занимается, очень скверно и добром не кончится. Маргарет недолго пробыла в пансионе; вся эта история выплыла наружу (большая часть мальчишек прислуживала во время богослужения), родители мальчишек, священник и родители других девочек подняли большой шум, было произведено расследование, во время которого Маргарет и все мальчишки отказались давать показания, и Маргарет пришлось покинуть пансион, не проучившись и года. Но Лени приобрела подругу на всю жизнь, которая потом не раз доказывала свою преданность в щекотливых и даже опасных для жизни ситуациях.

Спустя год, отнюдь не озлобленной, но с неутоленной жаждой знаний, Лени включилась в трудовой процесс – поступила ученицей в контору своего отца (официальное название должности – конторская служащая), по его настоятельной просьбе вступила в нацистскую организацию для девушек, в форме которой (Господи Боже!) даже довольно мило выглядит на снимке. Нужно сказать, что Лени без всякой радости участвовала в сборищах, устраиваемых этой организацией, и – справедливости ради – надо добавить, что Лени даже приблизительно не понимала политической значимости нацизма; ей просто не нравились коричневые мундиры, особенно противными казались штурмовики; и тот, кто способен взглянуть на все это глазами Лени, с ее скатологическими интересами и осведомленностью по этим вопросам благодаря сестре Рахили, тот поймет или, по крайней мере, почувствует, почему этот коричневый цвет вызывал у нее такую неприязнь. Ее прохладное отношение к сборищам, на которые она в конце концов вообще перестала ходить, так как с сентября 1939 года начала работать на фабрике своего отца «на оборонные нужды», имело под собой иные причины: эти сборища казались ей слишком по-монастырски благочестивыми; группа, в которую ее зачислили, «попала под начало» энергичной молодой католички, которая поставила своей целью подорвать изнутри «этот строй» и, после того как поверила – к сожалению, напрасно! – в надежность своих двенадцати подопечных, превратила положенные сборища в посиделки с молитвами и духовными песнопениями в честь Девы Марии и т. д.; Лени, как легко себе представить, не имела ничего против песнопений в честь Девы Марии и молитв, да только после двух с половиной лет вынужденного монашеского благочестия – в это время ей только что минуло семнадцать лет – все это казалось ей не особенно интересным и попросту скучным; удивиться она и не подумала, только заскучала. Конечно, «подрывные действия» молодой католички – некоей Гретель Марайке – не остались незамеченными, на нее

донесла одна из девушек – некая Паула Шмиц; Лени даже допрашивали как свидетельницу, но она, подготовленная соответствующим образом отцом Гретель, стояла на своем и не моргнув глазом отрицала факт духовных песнопений (так поступили, впрочем, десять девушек из двенадцати). Таким образом, Гретель Марайке удалось избежать серьезных неприятностей, если не считать двух месяцев заключения в тюрьме гестапо и допросов, которые ей все же пришлось вынести и которых ей «вполне хватило», – больше Грета ничего не сказала обо всей этой истории (краткое резюме авт. после нескольких бесед на эту тему с ван Доорн).

* * *

Тем временем мы попадаем уже в лето 1939 года. У Лени начинается самый говорливый период ее жизни, который продлится около двух лет. Она слывет красавицей, получает по особому разрешению водительские права, с удовольствием раскатывает на автомобиле, играет в теннис, сопровождает отца на конференции и в деловых поездках. Лени живет в ожидании мужчины, «которого она полюбит и которому отдастся безоглядно», для которого она уже придумывает «смелые ласки, чтобы он радовался мне, а я ему» (Маргарет). Лени не упускает случая потанцевать, в это лето частенько проводит вечера, сидя на открытых террасах кафе за чашечкой кофе с мороженым, и вообще немного изображает «светскую даму». От того времени сохранились потрясающие фотографии Лени: она все еще могла бы претендовать на звание «самой истинно немецкой девушки города», более того, всего округа, а то и провинции или даже всего политическо-историческо-географического образования, которое стало называться германским рейхом. Лени могла бы выступать в роли святой (или Магдалины) в какой-нибудь мистерии и сниматься для рекламы питательного крема, а может быть, даже сыграть роль в кино; глаза ее к этому времени окончательно потемнели и стали почти черными, густые светлые волосы она причесывала так, как описано на стр. 6, и даже небольшой допрос в гестапо и тот факт, что Гретель Марайке пришлось два месяца провести за решеткой, не слишком помешали ей вкушать прелести жизни.

Поскольку Лени считает, что и от Рахили узнала недостаточно о биологической разнице между мужчиной и женщиной, она жаждет найти новые источники информации по этому вопросу. Листает справочники – почти безрезультатно, роется в многочисленных книгах отца и матери – тот же результат; иногда в воскресенье навещает Рахиль, долго гуляет с ней по огромному монастырскому саду и умоляет просветить ее; немного поколебавшись, Рахиль сдается и

объясняет ей – причем опять-таки ни той, ни другой не приходится краснеть – такие детали, о которых два года назад умолчала: механизм функционирования мужских половых органов, причины их возбуждения и возбудимости со всеми последствиями и радостями, и поскольку Лени не терпится получить соответствующий иллюстративный материал, а Рахиль отказывается ей его дать, так как считает вредным рассматривать такие картинки, то Лени по совету одного книготорговца, с которым она говорила по телефону, изменив голос (в чем не было никакой необходимости), попадает в городской Медицинский музей, где в разделе «половая жизнь» представлены в основном экспонаты, иллюстрирующие венерические болезни – от обычного триппера и мягкого шанкра до фимоза и всех стадий люэса; ознакомившись с соответственно раскрашенными гипсовыми моделями, где все это изображено весьма натурально, Лени узнает о существовании целого мира зла – и возмущается; чопорной девицей она никогда не была, и возмутило ее то обстоятельство, что в этом музее, по-видимому, отождествляли половую жизнь с венерическими болезнями; этот пессимистический натурализм возмутил ее точно так же, как в свое время возмутила лицемерная символика, применявшаяся учителем Закона Божьего, и Медицинский музей показался ей вариантом той самой «клубники со взбитыми сливками» (свидетельство Маргарет, которая снова покраснела, сознавшись, что сама-то она отказалась просвещать Лени). Здесь может возникнуть впечатление, что Лени стремилась к здоровой и чистой жизни. Ничего подобного; ее материалистически чувственная тяга к конкретным вещам зашла так далеко, что она перестала категорически отклонять все те многочисленные домогания, которым подвергалась, и в конце концов уступила страстным мольбам одного молодого архитектора из конторы ее отца, показавшегося ей симпатичным, и назначила ему свидание. Субботний вечер, лето, роскошный отель на берегу Рейна, танцы на открытой веранде, она – блондинка, он – блондин, ей – семнадцать, ему – двадцать три, оба здоровы, – казалось бы, все идет к happy end или, по крайней мере, – к happy night[2 – Счастливым концом; счастливая ночь (англ.)]. Но ничего из всего этого не вышло; уже после второго танца Лени покинула отель, уплатив за неиспользованный (одинарный) номер, где она успела лишь выложить из сумки халатик (купальный) и туалетные принадлежности; она поехала к Маргарет и рассказала, что уже во время первого танца поняла: «У этого парня неласковые руки» – и ее легкая влюбленность моментально улетучилась.

* * *

Авт. уже чувствует, что его более или менее терпеливый читатель начинает терять терпение и задается вопросом: «Черт возьми, да что эта Лени – ангел, что ли?» Отвечаем: почти. Другие читатели, с иными идеологическими корнями, поставят вопрос иначе: «Черт возьми, может, эта Лени, в сущности, большая свинья?» Отвечаем: нет, не свинья. Просто она ждет, когда появится «тот единственный», а его все нет и нет; ее постоянно осаждают мужчины – назначают свидания, приглашают вместе провести за городом week-end[3 - Субботний вечер (англ.)], она испытывает к ним не отвращение, а скорее досаду, даже самые бесцеремонные предложения «познакомиться поближе», выраженные зачастую в самой вульгарной форме и на ушко, не выводят ее из себя; в ответ она лишь отрицательно качает головой. Она любит носить красивые платья, плавает, гребет, играет в теннис, да и спит спокойно, а «глядеть, как она уписывает за обе щеки свой завтрак, было одно удовольствие – с таким аппетитом она ела, ну просто удовольствие; за завтраком она съедала две свежие булочки, два ломтика черного хлеба, яйцо всмятку, немного меда, иногда еще и кусочек ветчины, потом пила кофе, очень горячий, с горячим молоком и сахаром, – нет, на это стоило поглядеть, потому как это одно удовольствие... И так каждый божий день – получаешь удовольствие, глядя, с каким аппетитом девочка ест» (Мария ван Доорн).

Кроме того, она любит ходить в кино, «чтобы спокойно немного поплакать в темноте» (слова Лени, переданные Марией ван Доорн). Например, после фильма «Освобожденные руки» два носовых платка Лени оказались такими мокрыми, что Мария даже подумала, уж не схватила ли Лени насморк. Зато такие ленты, как «Распутин – демон-соблазнитель», «Лейтенский хорал» или «Горячая кровь», оставили ее совершенно равнодушной. «После таких фильмов (Мария ван Доорн) ее носовые платки были не только абсолютно сухими, но даже казались свежeweыглаженными». Фильм «Девушка из Фане» тоже заставил ее плакать, хотя и не так сильно, как «Освобожденные руки».

В эту пору Лени ближе знакомится со своим братом, которого до сего времени видела весьма редко; брат был на два года старше ее, восьмилетним его отправили в интернат, где он пробыл одиннадцать лет. Каникулы использовались большей частью для пополнения образования – он проводил их в Италии, Франции, Англии, Австрии, Испании, потому что его родители всей душой стремились сделать из него то, что они фактически и сделали: «По-настоящему образованного молодого человека». Опять-таки по свидетельству М. в. Д., мать молодого Генриха Груйтена считала «свою среду мещанской», а поскольку сама она воспитывалась и получила образование во французском монастыре и всю жизнь оставалась женщиной «иногда чрезмерно

чувствительной и утонченной», можно предположить, что она стремилась привить своему сыну нечто подобное. И это, насколько удалось выяснить, ей удалось. Нам придется ненадолго остановиться на личности этого Генриха Груйтена, который в течение двенадцати лет своей жизни существовал вдали от семьи и был для Лени кумиром, чуть ли не божеством, чем-то средним между молодым Гете и молодым Винкельманом, с некоторыми чертами Новалиса, и появлялся дома лишь изредка – за одиннадцать лет раза четыре; Лени и теперь может о нем сказать только, что он был «такой милый, такой ужасно милый и добрый».

Признаться, это не слишком много, да и не слишком выразительно, вроде облатки, к тому же и ван Доорн может сказать о Генрихе лишь немногим больше, чем Лени («Очень образованный, очень тонкий, но совсем не заносчивый, совсем»); а поскольку Маргарет видела его в 1939 году легально лишь дважды, когда была приглашена к Груйтенам на чашку кофе, и еще один раз, уже нелегально, в 1940 году, холодной апрельской ночью накануне отправки его танковой части в Данию, чтобы завоевать эту страну для вышеупомянутого германского рейха, то выходит, что Маргарет – в результате скрытности Лени и неосведомленности М. в. Д. – единственная свидетельница, не принадлежащая к духовному сословию. Авт. сознает, что ему неловко описывать обстоятельства своего разговора с Маргарет, женщиной под пятьдесят, венерической больной, – разговора, из которого он узнал кое-что существенное об этом Генрихе. Все ссылки на слова Маргарет – доподлинные, они перепечатывались с магнитофонной ленты, в них не допущено никаких искажений. Итак, приступим: Маргарет необычайно оживилась, на ее лице (уже сильно обезображенном болезнью) появилось выражение прямо-таки детского восторга, когда она сразу и без всяких околичностей заявила: «Да, его я любила. Я любила его». На вопрос, любил ли он ее, она покачала головой, но не отрицательно, а скорее как бы в сомнении, но без всякой обиды, это автор готов подтвердить под присягой. «Знаете, волосы у него были темные, а глаза голубые, и вообще он был – не знаю, как сказать – какой-то благородный, да, правильное слово, именно благородный. Он и не догадывался, сколько в нем обаяния, ради него я готова была буквально на все, даже пошла бы на панель, чтобы он мог читать свои книжки или еще чем-нибудь таким заниматься, откуда мне знать, чему он выучился, он умел и книжки читать, и осматривать церкви, и разучивать хоралы, и слушать музыку, он знал и латынь, и греческий, и все-все об архитектуре, ну, в общем, он был очень похож на Лени, только темноволосый, и я его любила. Два раза я видела его в их доме – меня приглашали на чашку кофе, это было в августе 1939-го, а 7 апреля 1940 года он сам позвонил мне по телефону – я была уже замужем, подцепила одного богатого малого, – позвонил

из Фленсбурга, и я сразу же помчалась к нему, а когда приехала, оказалось, что увольнительных больше не дают, а на улице было холодно: восьмого апреля дело было. Их часть стояла в здании школы, и все уже было готово, чтобы ночью выступить – а может, вылететь или отплыть, не знаю уж. Значит, увольнительных не дают. Никто тогда не знал и потом не узнал, что я у него была, ни Лени, ни ее родители, вообще ни одна душа. Он все-таки вышел ко мне, без увольнительной. Вылез из окна женского туалета на школьном дворе и перемахнул через стену. Ни номера в гостинице, ни комнаты в частном доме. Открыт был только один бар, мы туда, и одна шлюха уступила нам свою комнату в мансарде. Я отдала ей все, что у меня было, – двести марок и колечко с рубином, и он отдал все – сто двадцать марок и золотой портсигар. Я любила его, он любил меня, и нам было плевать, что кругом нас все шлюхино. Мне и сейчас плевать, в высшей степени плевать. Да... (Авт. дважды внимательно прослушал это место, дабы убедиться, что Маргарет действительно дважды повторила «мне и сейчас плевать, в высшей степени плевать», то есть отнесла этот глагол к настоящему времени. Вывод: да, отнесла.) Ну вот, а вскоре он погиб. Какое безумное, безумное расточительство». На вопрос, как ей пришло в голову употребить слово «расточительство», вроде бы неуместное в данном случае, Маргарет ответила буквально следующее (цитируется по магнитофонной записи): «Ну сами посудите: такой образованный, такой красивый, такой сильный мужчина, ему ведь было всего двадцать лет – сколько еще мы могли бы любить друг друга, сколько бы любили, и не только в комнатах грязных проституток, но и на природе, если бы было тепло... И все бессмысленно, вот я и говорю – расточительство».

Поскольку Маргарет, Лени и М. в. Д. одинаково фетишизируют Генриха Г., авт. и в этом случае постарался изыскать более объективную информацию; ее можно было получить только от двух отцов иезуитов с пергаментной кожей – обоим за семьдесят, оба сидят в одинаково прокуренных редакционных комнатах, редактируя рукописи, – правда, для двух разных журналов, но касающиеся одной и той же темы («Открытость – налево или направо?»), один из них – француз, другой – немец (а возможно, и швейцарец), первый – поседевший блондин, второй – поседевший брюнет; оба мудрые, доброжелательные, хитрые, человечные, и оба одинаково ответили на вопрос автора, воскликнув: «Ах, Генрих, Генрих Груйтен!» (то есть фразой, точно совпадающей как по лексике, так и по синтаксической структуре, вплоть до мысленно расставляемых знаков препинания, поскольку француз тоже говорил по-немецки), оба положили на стол трубки, откинулись назад, отодвинули в сторону рукописи, покачали головами, потом кивнули, как бы собираясь с мыслями, глубоко вздохнули и

заговорили. На этом кончается полное тождество и начинается частичное совпадение; так как одного из патеров авт. разыскал в Риме, а другого – в окрестностях Фрейбурга, неизбежными оказались предварительные телефонные переговоры касательно возможных сроков встречи, а ввиду значительных расстояний возникли и значительные расходы, о которых придется сказать, что они в общем-то не оправдали себя, если не считать «общечеловеческой ценности» таких встреч, – но такой цели, вероятно, можно достичь и не входя в столь большие расходы, ибо оба патера лишь внесли дополнительную лепту в фетишизацию покойного Генриха Г. Один из них, француз, сказал: «Он был такой немец, такой истинный немец, и такой благородный». Второй сказал: «Он был такой благородный, такой благородный, и такой истинный немец». Дабы упростить изложение показаний этих двух свидетелей, кратко обозначим первого патера И. (иезуит) I, а второго И. II. Итак, И. I: «В течение двадцати пяти лет у нас больше не было такого интеллигентного и способного ученика». И. II: «На протяжении двадцати восьми лет у нас не было второго такого способного и интеллигентного питомца». И. I: «Из него мог бы получиться второй Клейст». И. II: «Из него мог бы выйти Гёльдерлин». И. I: «Мы не пытались склонить его к принятию духовного сана». И. II: «Мы не предпринимали попыток склонить его к вступлению в наш орден». И. I: «Мы понимали, что он был выше этого». И. II: «Даже наиболее преданные нашему ордену братья отказались от этого». На вопрос об учебных успехах Генриха И. I ответил: «Он имел высший балл по всем предметам, даже по физкультуре, но получалось это как бы само собой, он не был скучным зубрилой, и у всех его учителей, у всех без исключения, сжималось сердце при мысли, что наступит день, когда Генриху придется выбрать свою будущую профессию». И. II: «Ну, разумеется, по всем дисциплинам у него было только «отлично», а позже специально для него ввели еще одну оценку: «блестяще». Но кем мог он стать? Это нас всех очень беспокоило». И. I: «Он мог бы стать дипломатом, министром, архитектором или правоведом, но в любом случае остался бы поэтом». И. II: «Стал бы он знаменитым педагогом или знаменитым художником, все равно он был и остался бы поэтом». И. I: «Только для одного дела он, бесспорно, не годился, был слишком хорош для него, – для службы в армии». И. II: «Кем угодно, только не солдатом». И. I: «Но из него сделали солдата». И. II: «Но его заставили им стать».

Совершенно очевидно, что этот Генрих между апрелем 1939-го и концом августа того же года, получив на руки свидетельство об образовании, называемое аттестатом зрелости, почти не имел возможности, а может быть, и не хотел использовать в полной мере полученные им знания. Вместе со своим двоюродным братом он попал в ведение организации, носившей простое и ясное

название «Имперский трудовой фронт», а посему с мая 1939 года его лишь иногда отпускали на побывку домой с тринадцати часов в субботу до двадцати двух часов в воскресенье; из этих милостиво предоставленных ему тридцати пяти часов он проводил восемь часов в поезде, а остальные двадцать семь использовал на то, чтобы пойти на танцы со своей сестрой и двоюродным братом, немного поиграть в теннис, несколько раз поесть в кругу семьи, поспать четыре-пять часов, два-три часа поспорить с отцом, который хотел сделать все, буквально все – и сделал бы, – чтобы только избавить Генриха от предстоявшего тому тяжкого испытания, которое в Германии называется действительной службой; но Генрих решительно отказался. Есть свидетельства, что за закрытыми дверями гостиной между отцом и сыном происходили яростные стычки, при которых фрау Груйтен тихо плакала, а Лени вынужденно отсутствовала; достоверно лишь одно-единственное высказывание Генриха, засвидетельствованное М. в. Д., которая явственно расслышала следующие слова: «Я тоже хочу быть дерьмом, дерьмом, и только дерьмом». Поскольку Маргарет точно помнит, что дважды пила послеобеденный кофе в доме Груйтенев в присутствии Генриха, и оба раза в августе, а кроме того, известно (в порядке исключения – от Лени), что впервые он приехал домой на побывку в мае, то можно с некоторой долей уверенности предположить, что Генрих был дома всего семь раз и провел там в общем и целом сто восемьдесят девять часов – из них примерно двадцать четыре проспал, а четырнадцать – поспорил с отцом. Здесь авт. предоставляет читателю решить, можно ли считать Г. баловнем судьбы. Как-никак, дважды пил кофе в присутствии Маргарет. А спустя несколько месяцев провел с ней ночь любви. Жаль, конечно, что, кроме слов: «Я тоже хочу быть дерьмом, дерьмом, и только дерьмом», другие его высказывания авт. неизвестны. Но может ли быть, чтобы этот юноша, одинаково отличавшийся как в латыни и греческом, так и в риторике и истории искусств, совсем не писал писем? Писал. М. в. Д., поддавшись на почтительнейшие мольбы авт. и не устояв перед подношениями в виде бесчисленных чашек кофе и нескольких пачек американских сигарет без фильтра (в возрасте шестидесяти восьми лет она пристрастилась к курению и находит это занятие «восхитительным»), на время изъяла из ящика семейного комода Груйтенев, которым Лени редко пользуется, три письма, с которых авт. удалось быстро снять фотокопии.

Первое письмо, датированное 10.10.1939, то есть написанное через два дня после окончания войны в Польше, не имеет ни обращения в начале, ни общепринятых приветов в конце; оно написано не готическим, а латинским шрифтом, четким, легко читаемым, необычайно красивым и интеллигентным почерком, достойным, так сказать, лучшего применения. Вот его текст: «Основной принцип: не приносить противнику больше вреда, чем это

необходимо для достижения военных целей.

Запрещается:

1. Применение ядов и отравленного оружия.
2. Убийство из-за угла.
3. Убийство военнопленных или нанесение им телесных повреждений.
4. Отказ выслушать просьбу о пощаде.
5. Применение огнестрельного или иного оружия, причиняющего ненужные страдания, напр., пули «дум-дум».
6. Злоупотребление парламентарским флагом, а также национальными флагами противника, его военными знаками различия и военной формой, опознавательными знаками Красного Креста (рекомендуется особая бдительность, учитывая возможную военную хитрость противника).
7. Произвольное уничтожение или изъятие имущества противника.
8. Принуждение граждан вражеской страны к участию в военных действиях против их родины (напр., немцы во французском «Иностранном легионе»).

Письмо второе от 13.12.1939. «Образцовый солдат ведет себя по отношению к начальникам непринужденно, отзывчиво, предупредительно и внимательно. Непринужденность поведения проявляется в естественности, расторопности и выражаемой радостной готовности исполнить свой долг. Для пояснения того, что понимается под отзывчивостью, предупредительностью и внимательностью, приведем следующие примеры: если начальник входит в помещение и спрашивает о лице, которое в данный момент отсутствует, следует не ограничиваться отрицательным ответом на вопрос, а отправиться на поиск искомого лица. Если начальник роняет какой-либо предмет, подчиненному надлежит его поднять (но если он находится в строю, то лишь по прямому

приказанию). Если подчиненный видит, что начальник собирается закурить сигару, он протягивает тому зажженную спичку. Если начальник хочет выйти из помещения, следует открыть перед ним дверь и потом аккуратно закрыть. Когда начальник надевает шинель или портупею, садится в машину или на лошадь, выходит из машины или слезает с лошади, предупредительный и внимательный солдат должен ему помочь. Чрезмерная предупредительность и чрезмерная внимательность не подобают солдату (угодничество); такого впечатления солдат не должен производить. Возбраняется преподносить начальнику подарки или приглашать его в гости».

Письмо третье от 14 января 1940. «Перед умыванием верхняя часть тела обнажается. Солдат умывается только холодной водой. Расход мыла является мерилем его чистоплотности. Ежедневно следует мыть: руки (неоднократно!), лицо, шею, уши, грудь и подмышки. Ногти на руках чистить щеткой для ногтей (не ножом). Волосы рекомендуется стричь как можно короче и причесывать на пробор. Длинные кудри не к лицу солдату (см. рисунок). (Рисунка в конверте не оказалось. – Прим. авт.) При необходимости солдату надлежит бриться ежедневно. Свежевыбритым он обязан являться: в караульное помещение, на смотр, для рапорта начальнику и в особых случаях.

После каждого умывания следует немедленно тщательно вытереться (растираясь до покраснения кожи), так как в противном случае можно простудиться, а от холодного воздуха кожа может потрескаться. Для лица и для рук следует иметь отдельные полотенца».

Лени редко говорит о своем брате; она так мало его знала, что и теперь и раньше могла сообщить только, что она «робела перед ним из-за его образованности» и что «потом очень удивилась, увидев, какой он милый, просто поразительно милый» (засвидетельствовано М. в. Д.).

Сама М. в. Д. тоже сознается, что побаивалась Генриха, хотя он и по отношению к ней тоже был «страшно мил». Даже помогал ей носить из подвала уголь и картошку, не стеснялся помогать ей мыть посуду и т. д., «и все же в нем было что-то такое, знаете, – что-то такое – ну, в общем, что-то очень благородное, в этом он даже был похож на Лени». Это «даже» требует подробных комментариев, от которых авт. воздерживается.

«Благородный», «истинно немецкий», «поразительно, поразительно милый», «страшно милый» – много ли из этого почерпнешь? Ответ может быть только один: нет. Получается набросок, а не картина. И если бы не ночь с Маргарет в каморке над баром во Фленсбурге, не единственное принадлежащее ему и достоверно засвидетельствованное высказывание («дерьмо» и т. д.), если бы не письма и, наконец, его гибель: казнен в двадцать один год вместе со своим кузеном по обвинению в дезертирстве и измене родине (контакты с датчанами), а также в «попытке отчуждения оружия, принадлежащего вермахту» (противотанковой пушки), – если бы не все это, мы ничего не знали бы о Генрихе – кроме того, что содержалось в воспоминаниях двух его учителей-иезуитов, заядлых курильщиков с пожелтевшей от старости пергаментной кожей, «цветка, цветка, что все еще цветет в сердце Маргарет», и этого ужасного года скорби – 1940/41. Поэтому предоставим Маргарет дать о нем самое весомое показание (магнитофонная запись): «Я сказала ему, что надо бежать, просто убежать со мной... Как-нибудь уж выкрутились бы, даже если бы мне пришлось пойти на панель... Но он не захотел оставить кузена, тот без него пропал бы, да и куда было бежать? И потом, вся эта бордельная обстановка в комнате, проклятые красные фонари и плюш, и розовые тряпки, и похабные фотографии на стенах, и вообще, – все-таки все было противно. Но плакать он не плакал... И как все это случилось? Ах, во мне по-прежнему это цветет, по-прежнему, – и если бы он прожил семьдесят, восемьдесят лет, я все равно любила бы его всей душой. А что они ему дали? «Западный мир, западный мир»! Вот с этим западным миром он и погиб – тут тебе и Голгофа, и Акрополь, и Капитолий (безумный смех) – еще и Бамбергский всадник в придачу! Выходит, такой замечательный парень жил на земле ради такой ерунды. Такой ерунды».

* * *

Когда Лени спрашивают о ее брате, заметив его фотографию на стене, она обычно напускает на себя вид светской дамы и бесстрастным голосом произносит удивительную в ее устах фразу: «Уже тридцать лет он покоится в датской земле».

Само собой разумеется, мы сохранили тайну Маргарет, ни иезуиты, ни Лени, ни М. в. Д. так ничего и не узнали; авт. лишь раздумывает, не стоит ли уговорить Маргарет при случае самой рассказать обо всем Лени: быть может, для сестры будет хотя бы слабым утешением знать, что ее брат незадолго до смерти провел ночь с восемнадцатилетней Маргарет. Возможно, Лени улыбнется, и улыбка только пойдет ей на пользу. Авт. не располагает другими доказательствами

поэтической одаренности Генриха, кроме вышеприведенных писем, которые, вероятно, можно считать первыми образчиками конкретной поэзии.

III

Чтобы проникнуть за кулисы описываемых событий, нам придется поближе познакомиться с человеком, к рассмотрению которого автор приступает с некоторой нерешительностью, хотя сохранилось большое количество фотографий этого человека и имеется много свидетелей – больше, чем по делу Лени; и все же именно потому – или несмотря на то, что свидетелей так много, у авт. не создается четкой картины. Речь идет об отце Лени, Губерте Груйтене, умершем в 1949 году в возрасте сорока девяти лет. Авт. удалось разыскать помимо непосредственно связанных с ним лиц, таких как М. в. Д., старик Хойзер, Лотта Хойзер, Лени, ее свекор, свекровь и шурин, еще двадцать два свидетеля, знавших Губерта Груйтена на самых разных этапах его жизни; почти все они работали с ним – либо он был их подчиненным, либо они подчинялись ему (таких оказалось гораздо больше); восемнадцать свидетелей – специалисты по строительству, четверо – государственные служащие: трое из них – архитекторы и юристы, один – тюремный служащий, ныне на пенсии. Поскольку все они, кроме одного, работали с Груйтеном в качестве его подчиненных – техников, чертежников, сметчиков и плановиков, возраст которых ныне колеблется между сорока пятью и восьмьюдесятью годами, то, вероятно, самым правильным будет выслушать их лишь после того, как мы ознакомимся с голыми фактами из жизни Груйтена. Губерт Груйтен родился в 1899 году, выучился на каменщика, участвовал в Первой мировой войне, пробыл год на фронте («не проявив ни рвения, ни честолюбия» – высказывание Хойзера-старшего), после войны ненадолго выдвинулся в бригады каменщиков, в 1919 году женился («взял жену не по чину») на будущей матери Лени, дочери архитектора на государственной службе, занимавшего довольно высокий пост (начальник строительства). Елена Баркель получила в приданое пакет совершенно обесцененных акций турецких железных дорог, но также и солидный доходный дом в престижной части города, тот самый, в котором позже родилась Лени; кроме того, именно Елена Груйтен открыла, «что было заложено в ее муже» (Хойзер-старший), и заставила его выучиться на инженера-строителя; на это ушло три года; сам Груйтен не любил, когда их называли «годами его студенчества», а его жена, говоря о «студенческих годах» мужа, характеризовала их как «трудные, но прекрасные», чем навлекала на себя

недовольство мужа: очевидно, ему было неприятно о них вспоминать. По окончании учебы он работал прорабом с 1925 по 1929 год, причем пользовался большим спросом и получал порою крупные объекты (не без содействия тестя); в 1929 году он основал собственную строительную фирму, до 1933 года часто бывал на грани краха, с 1933 года начал смело расширять дело, в начале 1943 года достиг вершины финансового успеха, затем два года, оставшиеся до конца войны, просидел в тюрьме или использовался на принудительных работах, в 1945 году вернулся домой, утратив прежнее честолюбие и ограничив свою деловую активность созданием небольшой бригады штукатуров, с которой вплоть до своей смерти в 1949 году «неплохо держался на плаву» (Лени). Кроме того, подрабатывал еще и «на металлическом ломе из развалин» (Лени).

Когда авт. спрашивает свидетелей, не состоящих в родстве с Груйтенем, о предполагаемых пружинах его предпринимательского честолюбия, некоторые из них вообще оспаривают наличие у Груйтена честолюбия, другие же называют честолюбие «основной чертой его характера», причем двенадцать свидетелей оспаривают наличие честолюбия у Груйтена, а десять, наоборот, считают его «основной чертой». Но все они единодушно отрицают то, что отрицает и такой старый человек, как Хойзер, а именно: наличие у Груйтена малейших способностей к архитектуре; они не признают за ним даже способностей к «строительному делу вообще». Но одним талантом он, по единодушному мнению всех, видимо, обладал: талантом организатора, администратора, который даже в ту пору, когда на его предприятии было занято около десяти тысяч работников, «держал все дела в голове» (Хойзер). Примечательно, что из двадцати двух свидетелей, не состоящих с Груйтенем в родстве, пятеро (из них двое принадлежат к той группе, которая не признает за ним честолюбия, а трое – к группе, считающей честолюбие его основной чертой) независимо друг от друга называли Груйтена «мечтателем»; на вопрос, что заставляет их дать ему столь неожиданную характеристику, трое просто ответили: «Ну, мечтатель – он и есть мечтатель». И лишь двое удостоили авт. более развернутого ответа на вопрос, о чем бы мог мечтать Груйтен. Бывший обер-директор строительства Хайнкен, ныне пенсионер, проживающий в деревне и занимающийся выращиванием цветов и разведением пчел (он весьма неожиданно для авт. и без всякой связи с темой разговора сразу заявил о своей ненависти к курам, да и потом вставлял фразу «Я ненавижу кур» чуть ли не через каждые два-три слова), – этот Хайнкен сказал, что мечтательность Груйтена, «если уж вы хотите знать мое мнение, – просто угрызения совести: он ведь постоянно пребывал в конфликте с какими-то нравственными принципами, мешавшими его деловой карьере». Второй свидетель, архитектор Керн, лет пятидесяти, еще активно работающий и

ставший за истекшее время чиновником федерального правительства, высказал следующее: «Ну, мы все считали его человеком действия, таким он, пожалуй, и был, а так как я сам по натуре крайне бездеятелен (самооценка ничем не спровоцированная, но весьма верная. – Авт.), то я, естественно, его уважал и даже им восхищался, и прежде всего тем, как он, человек весьма простой по происхождению, разговаривал с самыми высокопоставленными лицами; он обращался с ними прямо-таки бесцеремонно и вообще ничуть не терялся; но часто, очень часто, когда я заходил к нему в кабинет, – а мне нередко приходилось бывать у него в кабинете, – он сидел за своим письменным столом, уставясь в одну точку, и мечтал... Да-да, он явно мечтал, если хотите знать, и мысли его были заняты вовсе не делами его фирмы. Он заставил меня задуматься о том, как часто мы, люди бездеятельные, бываем несправедливы к деятельным натурам».

И наконец, старик Хойзер, когда авт. заговорил с ним о том, что Груйтена некоторые считают «мечтателем», удивленно взглянул на авт. и сказал: «Сам бы я никогда до этого не додумался, но теперь, когда вы произнесли это слово, должен признать: в нем не просто что-то есть, а оно попадает в самую точку. В конце концов, мне ли не знать: ведь это я вынул Губерта из купели, мы с ним двоюродные братья; в первые послевоенные годы (имеются в виду годы после Первой мировой войны. – Авт.) я ему немного помог, а потом он с лихвой отплатил мне добром за добро; когда он основал собственное дело, он меня сразу же взял к себе в фирму, хотя мне уже давно перевалило за тридцать; я был у него главным бухгалтером, вел все делопроизводство, а потом стал его компаньоном; ну, смеялся он редко, это верно, и он был немного игрок, – да что там, игрок до мозга костей. И когда разразилась катастрофа, я никак не мог взять в толк, зачем он это сделал; наверное, слово «мечтатель» может многое прояснить. Только как он потом поступил с нашей Лоттой (злой смешок), мечтами никак не назовешь».

Ни один из ныне здравствующих двадцати двух бывших сотрудников Г. не отрицает, что он был щедр, «приятен в общении, несколько суховат, но приятен».

Достоверной является одна фраза, поскольку подтверждена двумя свидетелями, опрошенными порознь, – сказанная Г. в 1932 году, когда он был близок к банкротству. Видимо, это произошло спустя несколько недель после падения Брюнинга. М. в. Д. воспроизводит эту фразу следующим образом: «Запахло бетоном, дети мои, запахло миллиардами тонн цемента, бункерами и

казармами», в то время как Хойзер цитирует эту же фразу несколько иначе: «Запахло бункерами и казармами, дети мои, казармами минимум на два миллиона солдат. Нам бы только продержаться еще полгода, а там заживем».

Ввиду обширности имеющегося материала о жизни и деятельности Груйтена-старшего не представляется возможным назвать поименно всех предоставивших этот материал в распоряжение авт. Остается лишь заверить, что авт. были приложены все усилия, чтобы получить как можно более достоверную информацию о любом, пусть даже второстепенном персонаже, остающемся на заднем плане событий, но играющем определенную роль.

К показаниям Марии ван Доорн по делу Груйтена-старшего необходимо относиться с известной осторожностью: она была (и есть) примерно одного с ним возраста, родом из той же деревни; не исключено, что она была в него влюблена или, по крайней мере, к нему неравнодушна, и потому суждения ее могут быть предвзятыми. Как-никак, она девятнадцатилетней девушкой поступила в прислуги к Груйтену, только что женившемуся на семнадцатилетней Елене Баркель, с которой он познакомился полгода назад на балу архитекторов, куда Г. пригласил отец Елены; она с первого взгляда пылко полюбила своего суженого; отвечал ли ей Г. столь же пылкой любовью, не представляется возможным установить; поступил ли он правильно, вскоре после свадьбы взяв в дом девятнадцатилетнюю крестьянскую девушку, несокрушимая и неистребимая жизненная сила которой бросается в глаза каждому, тоже кажется авт. сомнительным. Несомненно лишь, что почти все высказывания Марии о матери Лени отдают неприязнью, в то время как отца Лени она видит неизменно в некоем ореоле или, вернее, в таком освещении, какое можно сравнить разве что со светом лампы, восковой или электрической свечи, а то и неоновой лампы, горящей перед изображением сердца Христова или святого Иосифа. Некоторые высказывания Марии позволяют даже предположить, что при известных обстоятельствах она могла бы вступить с Губертом Груйтеном в незаконную связь. Например, когда она говорит, что начиная с 1927 года брак Груйтенов начал «разваливаться» и что она была готова дать Губерту все, чего не могла или не хотела дать жена, то слова эти нельзя расценить иначе, как совершенно прозрачный намек; а когда этот намек еще и подкрепляется замечанием (правда, оно было произнесено смущенным шепотом): «В конце концов, я ведь тогда была еще совсем молодая», – то последние сомнения рассеиваются. На прямой вопрос, не намекает ли ван Доорн, что в отношениях между супругами Груйтен исчезла та интимная сторона, которая считается

основой всякого брака, Мария ответила со свойственной ей обезоруживающей прямоотой: «Да, именно это я и хотела сказать». Причем выражение ее все еще выразительных карих глаз – понятное дело, без слов – позволяет авт. предположить, что она пришла к такому выводу, не только наблюдая вблизи семейную жизнь супругов, но и меняя их постельное белье. На следующий вопрос – не думает ли она, что Груйтен «искал утешения на стороне», – Мария ответила решительным и бесповоротным «нет» и добавила – авт. почти уверен, что услышал в ее голосе сдавленные рыдания: «Он жил как монах, а ведь он не был монахом».

Если внимательно рассмотреть фотографии покойного Губерта Груйтена – младенческие снимки сбрасываем со счетов и как первый по времени всерьез изучаем снимок, на котором Груйтен запечатлен с группой выпускников своей школы, – то увидим, что в 1913 году это был рослый, стройный юноша со светлыми волосами, длинноватым носом и темными глазами, глядящий в объектив «решительно», однако не так тупо-напряженно, как его соученики, похожие на новобранцев, и сразу же на память приходит пророческое предсказание, сделанное в свое время его учителем, священником и кем-то из членов семьи, сохранившееся лишь в устной форме и ставшее уже семейным преданием: «Этот парень далеко пойдет». Но куда? На следующей по времени фотографии, сделанной в 1917 году, Губерту восемнадцать; он только что закончил обучение профессии каменщика. Данное ему много позже определение «мечтатель» находит на этом снимке психологическое подтверждение. Г. – парень серьезный, это видно с первого взгляда, а написанная на его лице доброта находится лишь в кажущемся противоречии со столь же явственно выраженной решительностью и силой воли. Поскольку он на всех фотографиях снят в фас – за исключением последних, снятых плохоньким аппаратом в 1949 году деверем Лени, Генрихом Пфайфером, уже упоминавшимся выше, причем нельзя ни увидеть, ни, следовательно, установить соотношение длины его носа и лица, – и так как даже знаменитый художник, написавший в 1941 году его портрет в натуралистической манере (масло, холст; портрет совсем неплохой, хотя и лишен объемности, – авт. разыскал его в частной коллекции у чрезвычайно неприятных людей и потому смог бросить на него лишь беглый взгляд), не воспользовался возможностью изобразить Груйтена вполоборота, то остается предполагать, что Груйтен, если лишить его современного антуража, казался бы сошедшим с полотен Иеронима Босха.

На тайны, связанные с постельным бельем супругов Груйтен, Мария лишь намекнула, зато о кухонных секретах говорила вполне открыто. «Она не любила острых приправ, а он, наоборот, любил острые блюда. Из-за этого у меня сразу же возникли трудности, потому что приходилось почти все дважды солить и перчить: для нее – слабо, для него – сильно. Кончилось тем, что потом он все досаливал и перчил уже на столе; в деревне, когда он еще был мальчишкой, все знали, что он скорее обрадуется соленому огурцу, чем куску сладкого пирога».

Следующий достойный упоминания снимок сделан во время свадебного путешествия Груйтенов в Люцерн. Вне всякого сомнения: госпожа Елена Груйтен, урожд. Баркель, очаровательна – хрупкое, нежное создание, милое и утонченное; по ней сразу видно то, чего не отрицают все знавшие ее люди, даже Мария: что она играла Шумана и Шопена, довольно бегло говорила по-французски, а также умела вязать, вышивать и т. д. И не исключено, это надо признать, что в ней погибла интеллектуальная личность, – быть может, даже левого толка; конечно, она – так ее воспитали – никогда не «заглядывала» в книги Золя, и легко можно себе представить, как она возмутилась, когда восемь лет спустя ее дочь Лени стала интересоваться своим стулом. Наверное, для нее Золя и кал были почти идентичными понятиями. Вероятно, врача бы из нее не вышло, а вот защитить диссертацию по истории искусств ей, несомненно, не составило бы особого труда. Будем к ней справедливы: имей она некоторые возможности, коих была лишена, получи она менее элегическое и более аналитическое образование, не познакомься она с той жеманной чопорностью, которой была пронизана вся ее жизнь в пансионе, в ней было бы, вероятно, меньше душевности, но зато больше духовности, и она, возможно, все же стала бы хорошим врачом. Ясно лишь одно: окажись у нее под рукой, хотя бы ненароком, такие книги, которые считались недозволенными, она увлеклась бы скорее Прустом, чем Джойсом; как-никак, читала же она Энрику фон Хандель-Маццетти и Марию фон Эбнер-Эшенбах, а также многое другое в том католическом иллюстрированном еженедельнике, ставшем ныне библиографической редкостью, который в ее пору считался самым современным из всех современных изданий такого рода, особенно если сравнить его с журналом «Публик» за 1914–1920-е годы; а если еще и учесть, что родители в подарок к шестнадцатилетию выписали ей журнал «Хохланд», то становится ясно, что она имела доступ не просто к прогрессивной, а к самой что ни на есть прогрессивнейшей литературе того времени. Вероятно, именно благодаря чтению журнала «Хохланд» она была так хорошо информирована относительно прошлого и настоящего Ирландии и ей были известны такие имена, как Пирс, Конноли, и даже такие, как Ларкин и Честертон. Ее сестрой Иреной Швайгерт,

урожд. Баркель, семидесятипятилетней старой дамой, которая коротает свой век в комфортабельном доме для престарелых в обществе нежно щебечущих попугайчиков и «спокойно ждет своего смертного часа» (ее слова), засвидетельствовано, что мать Лени, в ту пору еще совсем молоденькая девушка, принадлежала к числу первых, если не самых первых, читательниц немецких переводов прозы Йейтса, «в чем я совершенно уверена, так как сама подарила ей вышедший в 1912 году томик Йейтса и, конечно же, Честертона». Авт. отнюдь не собирается утверждать, что образованность или необразованность персонажа характеризует его положительно или отрицательно, он упоминает о ней лишь для того, чтобы лучше осветить тот фон, который к 1927 году уже омрачили трагические тени. И лишь в одном он уверен целиком и полностью: при взгляде на фотографию молодоженов, снятую во время свадебного путешествия Груйтенов в 1919 году, понимаешь: какие бы там задатки ни были загублены в Елене Груйтен, задатков куртизанки она была начисто лишена; она производит впечатление женщины не очень чувственной и совсем не сексапильной, в то время как ее супруг предельно сексуален; вполне возможно, что они оба – а сомневаться в их взаимной любви у нас нет никаких оснований – ввязались в авантюру, именуемую браком, будучи совершенно неопытными в вопросах пола; вполне вероятно также, что в первые ночи Груйтен вел себя не то чтобы грубо, но недостаточно деликатно.

Что касается его знакомства с книгами, то авт. не хотел бы полностью довериться суждению одного из ныне здравствующих конкурентов Груйтена, слывшего «гигантом строительной индустрии» и сказавшего буквально следующее: «Он и книги? Да для него существовала в жизни, пожалуй, только одна книга – книга бухгалтерского учета его фирмы». Это не совсем верно. Правда, доказано, что Груйтен на самом деле мало читал: в годы своего студенчества волей-неволей читал обязательную специальную литературу, а кроме нее – лишь популярно изложенную биографию Наполеона. И вообще – как засвидетельствовали слово в слово Мария и Хойзер – «ему хватало газет, а позже одного радио».

После того, как удалось разыскать старую госпожу Швайгерт, разъяснилось и одно дотоле совершенно непонятное и никем не понятое выражение Марии, которое авт. не раз слышал из уст ее соседей в деревне и которое так долго оставалось незачеркнутым в его блокноте, что он уже было совсем потерял терпение; дело в том, что Мария сказала как-то про госпожу Груйтен, что «она все время носилась со своими этими... Ну, в общем, на букву «ф»...». Эта «ф»

никак не могла означать «фурункулы» (Мария: «Какие еще фурункулы? Кожа у нее была совершенно чистая. Я хотела сказать, что она носилась со своими финнами»). Однако ни в одном из собранных свидетельств о жизни Лени не встретилось ни малейшего намека на существование каких-либо связей матери Лени с Финляндией, и речь идет, видимо, не о финнах, а о фениях – ведь мы теперь знаем, что пристрастие госпожи Груйтен к Ирландии позже приняло романтический и даже до некоторой степени сентиментальный характер. Во всяком случае, Йейтс был и остался ее любимым поэтом.

Поскольку в нашем распоряжении нет писем, которыми обменивались супруги Груйтен, а имеются лишь суждения ван Доорн, в данном случае представляющиеся весьма сомнительными, то авт. приходится опираться на весьма поверхностное впечатление от снимка, сделанного на берегу Люцернского озера во время свадебного путешествия, и впечатление это сводится к чисто негативному утверждению: в этой паре не чувствуется эротической, а тем более сексуальной гармонии. Это бесспорно. На этой ранней фотографии, кроме того, уже ясно проступает то, что подтверждается в дальнейшем более поздними: Лени больше похожа на отца, а Генрих – на мать, хотя Лени по гастрономической части (за исключением булочек) пошла скорее в мать, а уж в своих поэтических и музыкальных вкусах и вовсе была ее духовной сестрой, как было показано выше. На гипотетический вопрос, какие дети родились бы от возможного брака Марии и Губерта Груйтена, легче ответить в негативной, нежели в позитивной, форме: наверняка не такие, о которых монахини и отцы иезуиты тотчас вспомнили бы спустя не один десяток лет.

Какая бы дисгармония или недопонимание ни омрачали семейную жизнь супругов Груйтен, все без исключения лица, близко знакомые с ними, в том числе и ревнивая ван Доорн, утверждают: никогда он не был с женой невежлив, равнодушен или хотя бы неласков; что же касается ее, то она просто «боготворила» своего мужа, на сей счет не может быть никаких сомнений.

Престарелая госпожа Швайгерт, урожд. Баркель, по которой сразу видно, что для нее имена Йейтса и Честертона – пустой звук, честно призналась, что она «не очень-то горела желанием» общаться со своим шурином, да и с сестрой после их свадьбы: ей было бы куда приятнее, если бы сестра вышла замуж за поэта, художника, скульптора или хотя бы архитектора; она не сказала прямо, что Груйтен казался ей простоватым, она выразилась иначе: «недостаточно тонок». В ответ на вопрос о Лени она лишь коротко обронила: «Ну что ж» – и на

настойчивые просьбы автора выразиться яснее только повторила эти же слова. Зато Генриха она сразу же расхвалила и назвала «истинным Баркелем»; даже то обстоятельство, что в смерти ее сына Эрхарда «фактически повинен Генрих, сам по себе Эрхард никогда бы не решился на такое», не уменьшило ее симпатии к Генриху; она заявила, что он «во всем впадал в крайности, буквально во всем, но зато был очень талантлив, почти гениален». В общем, она произвела на авт. какое-то двойственное впечатление; ему показалось, будто она даже не слишком огорчена ранней смертью своего сына, поскольку отделялась какими-то общими фразами вроде «время было такое судьбоносное» и, более того, – говоря о своем сыне и Генрихе, сделала в высшей степени странное замечание, для понимания которого потребовалось много дополнительных расспросов и исторических справок. Дословно она сказала следующее: «Они оба были похожи на тех, что пали смертью храбрых под Лангемарком». Если вспомнить проблематику сражения под Лангемарком, вернее, проблематику легенды Лангемарка, если вспомнить разницу между 1914 и 1940 годами, если вспомнить примерно с полсотни запутанных недоразумений, на которых здесь нет нужды останавливаться, то читатель легко поймет, почему авт. распрощался с госпожой Швайгерт вежливо, но прохладно, хотя и не окончательно. И когда он позже от свидетеля Хойзера узнал, что супруг госпожи Швайгерт, до той поры остававшийся для авт. фигурой весьма туманной, был тяжело ранен под Лангемарком – «его там буквально изрешетили» (Хойзер) – и три года провел в госпитале, что он в 1919 году женился на Ирене Баркель, ухаживавшей за ним из чистого милосердия, что от этого брака родился сын Эрхард, но сам Швайгерт «жил на одном морфии и так исхудал, что не мог найти местечко, куда бы всадить шприц» (Хойзер) и в 1923 году в возрасте двадцати семи лет скончался, причем в графе «профессия покойного» было указано «студент», то можно предположить, что госпожа Швайгерт, эта дама до мозга костей, в глубине души предпочла бы, чтобы ее супруг пал смертью храбрых под Лангемарком. На жизнь она зарабатывала посредничеством при продаже земельных участков.

Начиная с 1933 года дела Груйтена идут в гору, поначалу полого, с 1935 года круто, а с 1937-го вообще взлетают вверх; судя по высказываниям его бывших сотрудников и некоторых специалистов со стороны, он заработал на Западном вале «кучу денег», но, по словам Хойзера, уже в 1935 году «переманил к себе за бешеные деньги самых лучших специалистов по строительству укреплений и бункеров, каких только мог найти», задолго до того «как появилась возможность их использовать». «Мы все время держались на кредитах таких размеров, что у меня и сейчас дух захватывает». Груйтен просто сделал ставку на то, что он называл «комплексом Мажино» всех государственных деятелей. «Даже когда миф о неприступности линии Мажино рухнет (слова Груйтена, переданные

Хойзером), этот комплекс все равно еще надолго останется, – может быть, даже навсегда; только у русских его нет, потому что границы у них слишком длинные и они просто не могут себе такого позволить; а вот во благо это им будет или во вред, мы еще поглядим. У Гитлера, во всяком случае, этот комплекс есть, хоть он и пропагандирует маневренную войну и даже ее ведет, но сам он одержим комплексом бункеров и укреплений, вот увидишь» (начало 1940 года, сказано им до захвата Франции и Дании).

Во всяком случае, уже в 1938 году фирма Груйтена выросла в шесть раз по сравнению с 1936 годом, когда ее объем в шесть раз превысил объем 1932 года; в 1940-м она увеличилась вдвое по сравнению с 1938 годом, а «в 1943-м ее уже вообще нельзя было с чем-либо сравнивать» (Хойзер).

Одно качество Груйтена-старшего подтверждается всеми опрошенными, хотя и выражается двумя разными словами: одни называют его «смелым», другие «бесстрашным», и лишь двое-трое считают его «одержимым манией величия». В деловых кругах и сейчас помнят, что он раньше всех догадался заманить или переманить к себе самых лучших специалистов по строительству бункеров, а позже смело взял на работу французских инженеров и техников, участвовавших ранее в сооружении линии Мажино, причем «он точно знал (слова бывшего высокопоставленного чиновника из министерства вооружений, пожелавшего остаться неизвестным), что в периоды намечающейся инфляции глупо экономить на заработках рабочих и окладах специалистов». Груйтен платил хорошо. В то время, о котором идет речь, ему исполнился сорок один год. Костюмы, сшитые на заказ из «дорогой, но не вызывающе дорогой ткани» (Лотта Хойзер), превратили «видного мужчину в импозантного господина»; а он и не стыдился свалившегося на него богатства и даже как-то сказал одному из сотрудников, архитектору Вернеру фон Хофгау, отпрыску старинного дворянского рода: «Всякое богатство когда-то возникло, в том числе и ваше родовое: не было его, а потом стало». Груйтен отказался построить себе виллу в том районе, который в то время считался престижным и в котором селились все недавно разбогатевшие люди (кстати, до самой смерти он, несмотря на все замечания окружающих, произносил вместо «вилла» – «филла»).

Было бы необоснованно считать Груйтена примитивным и пошлым выскочкой: к примеру, он обладал одним качеством, которое не отнесешь ни к наследственным, ни к благоприобретенным: он прекрасно разбирался в людях, и все его сотрудники, архитекторы, техники, коммерсанты, уважали его, а большинство даже боготворило. Действительно, он тщательно продумал

программу обучения и воспитания своего сына и внимательно следил за ее выполнением, даже лично все контролировал; он часто сам навещал мальчика, но редко привозил его домой, потому что не хотел, чтобы «тот запачкался о его грязные дела» (неожиданное, но надежное свидетельство Хойзера). Он мечтал, чтобы тот сделал научную карьеру и стал профессором – но не «каким-нибудь заштатным, а таким, каким был тот ученый, для которого мы как-то раз построили виллу» (тоже Хойзер. По его словам, речь шла об одном довольно известном филологе-романисте, библиотека которого, а также широта кругозора и «открытое, сердечное отношение к людям», очевидно, произвели на Груйтена большое впечатление). Он огорчился, когда выяснилось, что его пятнадцатилетний сын «еще не так свободно владел испанским языком, как я надеялся».

Груйтен никогда не считал Лени «глупой гусыней». И совсем не рассердился на нее за то, что первое причастие привело ее в ярость, а, наоборот, громко рассмеялся (что, судя по всему, редко с ним случалось) и прокомментировал это событие следующей фразой: «Она хорошо знает, что ей надо» (Лотта Х.).

В то время как его жена постепенно блекла, становилась немного слезливой и даже чуть-чуть ханжой, для него наступил «возраст расцвета». Чего у него никогда не было и не появилось до конца дней, так это комплекса неполноценности. Он мог заблуждаться – и действительно заблуждался – в отношении сына, а уж его требования к степени овладения сыном испанским языком иначе, как заблуждением, и не назовешь. Но и спустя тринадцать лет после того, как (согласно Марии ван Доорн) между ним и его женой прекратились супружеские отношения, он ее не обманывал, – во всяком случае, не обманывал с другими женщинами. Он питал неожиданное для такого человека, как он, отвращение к скабрёзным анекдотам и не стеснялся его высказывать в «холостых компаниях», где ему время от времени приходилось бывать и где часам к двум-трем ночи неизбежно наступает такая стадия, когда кто-нибудь из собутыльников начинает требовать «страстную черкешенку». Сдержанность Груйтена по части сальностей и «черкешенок» вызывала насмешки в его адрес, которые он спокойно пропускал мимо ушей (Вернер фон Хофгау, в течение года иногда сопровождавший Груйтена на такие вечеринки).

Что же это за человек, наверняка уже задается вопросом теряющий терпение читатель, что же это за человек: ведет целомудренную жизнь, гребет деньги на военных заказах перед войной и во время войны – оборот его фирмы (согласно

Хойзеру) возрос с миллиона в год в 1935 году до миллиона в месяц в 1943 году, а в 1939 году, когда его квартальный оборот, как-никак, тоже составлял миллион, старается сделать все, чтобы только оградить сына от участия в том, на чем сам наживается?

В 1939–1940 годах между отцом и вернувшимся на родину сыном возникает взаимное раздражение, даже ожесточение; сын спустился с трех священных гор западного мира и теперь осушает болота где-то в четырех часах езды по железной дороге от родительского дома, хотя за истекшее время – по настоятельному желанию отца, заплатившего за это одному испанскому монаху-иезуиту солидную сумму, – и научился читать Сервантеса в оригинале. С июня по сентябрь сын приезжал на побывку в отчий дом примерно семь раз, а с конца сентября до начала апреля 1940 года приблизительно пять; он категорически отказался воспользоваться прямо высказанным предложением отца, у которого «везде есть свои люди» и которому «ничего не стоит» добиться «перевода сына в какое-нибудь более подходящее место» (свидетельства Хойзера-младшего и Лотты) или вообще освободить от службы в армии как сотрудника фирмы, работающего на оборону. Что же за человек его сын, который вместо ответа на расспросы о его самочувствии и условиях армейской жизни, сидя за завтраком в кругу семьи, вытаскивает из кармана книжку: Райберт. «Наставление по службе в сухопутных войсках (для противотанковых частей). Изд. второе, переработанное майором д-ром Альмендигером» – и зачитывает вслух то, что не успел сообщить в письмах, а именно раздел, занимающий почти пять страниц и озаглавленный: «Воинское приветствие», – раздел, в котором подробно рассматриваются все варианты отдания чести – на ходу, лежа, стоя, сидя, на лошади и в машине, а также кто кого и как должен приветствовать. При этом нужно помнить, что отец Генриха отнюдь не принадлежал к разряду тех отцов, которые целыми днями сидят дома и ждут приезда сына; его отец, за истекшее время получивший в свое распоряжение самолет (Лени летала на нем с наслаждением!), человек не просто занятой, а перегруженный чрезвычайно важными делами, который всякий раз высвобождается с великим трудом, отменяя важные совещания и даже переговоры с министрами (!) под любыми надуманными предлогами (визит к зубному врачу и т. д.), чтобы только не упустить случай повидаться с горячо любимым сыном. Что же ему – сидеть и слушать, как этот сын целыми страницами зачитывает правила воинского приветствия, изложенные каким-то там Райбертом и переработанные д-ром Альмендигером, – любимый сын, которого отец хотел бы видеть директором института истории искусств или, на худой конец, археологического института где-нибудь в Риме или Флоренции?

Надо ли разъяснять, что эти «чашечки кофе», эти завтраки и обеды «были для всех присутствующих не только неприятными, что они становились все более мучительными, изматывающими и наконец превратились в настоящий кошмар» (Лотта Хойзер). Лотта Хойзер, урожд. Бернтген, невестка многократно цитировавшегося Отто Хойзера, главного бухгалтера и заведующего делопроизводством фирмы, в то время двадцатилетняя молодая женщина, служила секретаршей у Груйтена, иногда приглашавшего на временную работу в качестве чертежника также и ее мужа, Вильгельма Хойзера. Поскольку Лотта в решающие месяцы 1939 года уже служила у Груйтена и ее время от времени тоже звали «на чашечку кофе» в дом шефа, когда там гостил приехавший на побывку Генрих, то ее мнение о Груйтене-старшем, которого она считала «просто неотразимым, хотя, по большому счету, его тогдашнюю деятельность можно назвать преступной», мы приводим здесь лишь попутно. Старик Хойзер частенько игриво намекал на «любовные, хотя и чисто платонические, отношения» своей невестки с Груйтеном, «под мужское обаяние которого она – при разнице в возрасте в неполных четырнадцать лет – не могла не подпасть». Высказывалась даже мысль (принадлежавшая якобы Лени, в чем авт. не уверен, поскольку она дошла до него не прямо, а косвенно, через не вполне надежного свидетеля Генриха Пфайфера), что «Лотта, вероятно, была тогда для отца сущим искушением; при этом я вовсе не хочу сказать, что она была искусительницей». Во всяком случае, Лотта называет эти семейные трапезы, ради которых Груйтен-старший, как говорят, прилетал домой из Берлина, Мюнхена или даже из Варшавы, «просто ужасными, совершенно невыносимыми». М. в. Д. называла эти трапезы «ужасными, просто ужасными», в то время как Лени ограничивается трехкратным повторением одного слова: «беда, беда, беда».

Всеми опрошенными, даже такой предубежденной свидетельницей, как М. в. Д., подтверждается, что эти приезды сына «просто-напросто погубили госпожу Груйтен: ей не под силу было вынести то, что происходило на ее глазах». Лотта Хойзер прямо говорит, что тогда имело место своего рода «интеллектуальное отцеубийство», и утверждает, что Груйтен-младший зачитывал длинные цитаты из упомянутой брошюры Райберта со злостной политической целью, потому-то они так больно и задели отца, – ведь тот погряз в политике, был в курсе важнейших политических секретов, в частности знал о предполагаемом строительстве казарм в Рейнской области задолго до того, как в нее вошли войска, знал и о запланированном строительстве огромных бомбоубежищ, – и именно поэтому не хотел слышать о политике у себя дома.

Лени пережила события этих тяжких девяти месяцев не так мучительно, как другие действующие лица этой истории, и, возможно, даже многого не заметила, потому что как раз в это время – приблизительно в июле 1939 года – вняла мольбам одного молодого человека, вернее, вняла бы, если бы он взмолился его выслушать; правда, она не была уверена, что он и есть тот единственный, которого она так страстно ждала, но знала, что поймет это не раньше, чем услышит его мольбу. Молодой человек этот был ее кузен Эрхард Швайгерт, сын жертвы Лангемарка и той дамы, которая утверждает, что он был похож на павших смертью храбрых под Лангемарком. Эрхард, который «по причине крайне лабильной нервной конституции и повышенной чувствительности» (слова его матери) не смог перевалить через столь трудный барьер, как экзамены на аттестат зрелости, и даже временно был забракован и отослан домой такой безжалостной организацией, как «Имперский трудовой фронт», после чего предпринял попытку получить «отвратительную» для него (слова самого Эрхарда, переданные авт. М. в. Д.) профессию учителя начальной школы и с этой целью – поначалу с помощью частного преподавателя – стал готовиться к «проверке на одаренность», но потом неожиданно был все же призван в другую, еще более безжалостную организацию, где встретился со своим кузеном Генрихом, который взял его под свое покровительство и во время приездов домой по увольнительным довольно откровенно пытался свести его со своей сестрой Лени. Он покупал билеты в кино и «посылал их туда вдвоем» (М. в. Д.), уславливался с ними о встрече после сеанса, «а сам не приходил» (та же). Поскольку Эрхард в итоге проводил у Груйтенгов не только большую часть своего отпуска, но весь отпуск, а к матери навещался лишь изредка и ненадолго, та до сих пор чувствует себя обиженной; она прямо-таки с возмущением отвергла высказанное авт. предположение, что между ее сыном и Лени могла существовать любовная связь «с серьезными намерениями». «Нет, нет и еще раз нет. Связь с этой – с позволения сказать, девушкой, – нет, невозможно». Однако не только возможным, но абсолютно неоспоримым является тот факт, что Эрхард с самого первого своего приезда в отпуск – то есть примерно с мая 1939 года – буквально боготворил Лени; тому есть надежные и авторитетные свидетели, и в первую голову Лотта Хойзер, которая откровенно признает, что «Эрхард был бы, безусловно, лучше тех, которые появились у нее потом, – во всяком случае, лучше того, который был у нее в сорок первом. Но все-таки не лучше того, кто появился в сорок третьем». По ее собственному признанию, она неоднократно пыталась заманить Лени и Эрхарда к себе и оставить их в квартире одних, «чтобы у них, черт побери, наконец-то что-нибудь получилось. Просто зло брало – парню стукнуло двадцать два, здоров как бык, да и внешне привлекателен. А Лени тогда было семнадцать с небольшим, и она – скажу вам откровенно, – она созрела для любви, она была женщиной, уже тогда была

женщиной, да еще какой женщиной! Но этот Эрхард был до такой степени рохля, что вы и представить себе не можете».

Тут нам придется, дабы избежать – или в очередной раз избежать – возможных недоразумений, охарактеризовать Лотту Хойзер. Год рожд. – 1913, рост – 1 м 64 см, вес – 60 кг, сидящая шатенка, всегда начеку, склонная к диалектическому мышлению, хотя не слишком образованная, про нее можно сказать, что она человек необычайно прямой, еще более прямой, чем Маргарет. Поскольку при жизни Эрхарда Лотта довольно тесно контактировала с Груйтенем-старшим, она представляется авт. немного более надежной свидетельницей, нежели ван Доорн, которая во всем, что касается Лени, склонна к фетишизации. Когда авт. коснулся в разговоре ее отношений с Груйтенем, вызывавших много толков, она и о них высказалась совершенно откровенно: «Ну, тогда у нас с ним могло бы уже что-то получиться, это верно, он уже тогда мог бы стать тем, кем стал позже, в сорок пятом; правда, я не одобряла почти все, что он делал, но признавала это, – не знаю, ясно ли вам, что я имею в виду. Жена его была женщина робкая, и вся эта гонка вооружений внушала ей такой ужас, что вконец ее запугала и сковала по рукам и ногам; будь она более энергичной и менее созерцательной, она бы запрятала своего сына в какой-нибудь монастырь в той же Испании или уж не знаю где, хотя бы в стране этих фениев, могла бы сама туда съездить и на месте все устроить; разумеется, моего мужа и Эрхарда тоже можно было бы избавить от участия в германской истории. Чтобы не возникло никаких недомолвок, сразу скажу: Елена Груйтен была не просто милая женщина, она была добрая и умная, и ей, если хотите знать, было не под силу вынести все, что творилось во имя этой истории, – не под силу выносить эту политику, эти военные заказы, это ужасное самоуничтожение, на которое сознательно обрек себя ее сын. Все, что другие люди вам о нем сказали, – истинная правда (имя Маргарет не было названо. – Авт.). Мальчик забил себе голову культурой Запада, – а что у него от всего этого осталось? Маленькая кучка дерьма, если хотите знать, а столкнуться ему пришлось со всей этой неопишуемой махиной. В нем было слишком много от Бамбергского всадника и слишком мало от героев Крестьянской войны. Я еще четырнадцатилетней девчонкой в 1927 году услышала от школьного учителя истории правду о социально-политической подоплеке Крестьянской войны и все как есть записала. Я, конечно, знаю, что Бамбергский всадник не имеет никакого отношения к крестьянским войнам, но попробуйте-ка остричь ему кудри да побрить – что получится? Что от него останется? Дешевая и грубая подделка под Иосифа Прекрасного. В общем, так: в сыне – слишком много от Бамбергского всадника, а в его матери – слишком много от тепличной розы; она давала мне

кое-что почитать, это были действительно прекрасные книги, она вообще была замечательная женщина, тут нет сомнений, наверное, ей и нужно-то было всего несколько инъекций гормонов; ну, а уж мальчик-то, Генрих, в него просто нельзя было не влюбиться, наверное, не было женщины, лицо которой при виде его не осветилось бы особенной улыбкой; да, только женщины и гомосексуалисты-интеллектуалы чувствуют истинного поэта на расстоянии. Разумеется, то, что он сделал, было чистым самоубийством, это ясно, вот только не могу понять – зачем он втянул в эту историю Эрхарда? А может, тот сам захотел, чтобы его втянули? Мы этого не знаем. В общем, целых два Бамбергских всадника решили умереть вместе и этого добились: их поставили к стенке; и знаете, что крикнул Генрих перед самым залпом? «Насрать на Германию!» Вот чем кончилось все его образование и воспитание, которое иначе, как уникальным, не назовешь; а впрочем, раз уж он попал в этот сраный вермахт, может, и к лучшему, что так кончил: шансов отправиться на тот свет между апрелем сорокового и маем сорок пятого было более чем достаточно. У Груйтена-старшего были большие связи, так что он добыл дело своего сына – ему переслал его один важный генерал, – но сам ни разу в него не заглянул, только попросил меня пересказать ему самое основное; оказалось, что мальчишки просто предложили датчанам купить у них зенитную пушку, причем хотели получить за нее как за металлолом, то есть марок пять; и знаете, что сказал этот тихий, стеснительный Эрхард на заседании трибунала? «Мы умираем за почетное дело – за торговлю оружием!»

Авт. считал необходимым еще раз встретиться с Вернером фон Хофгау, господином пятидесяти пяти лет, который «временно работал в бундесвере на штатной должности, требовавшей некоторого опыта в строительстве», а ныне открыл в боковом крыле своего родового замка небольшую архитектурную мастерскую, «которая занимается исключительно мирным делом, а именно – строительством загородных домиков». Чтобы яснее представить себе, как выглядит фон Х., скажем, что это любезный седовласый господин (который на прямой вопрос автора ответил, что считает себя человеком весьма пассивным, и, видимо, имел на это все основания); фон Х. холост, и, по непросвещенному мнению авт., «архитектурная мастерская» для него лишь предлог, чтобы иметь возможность часами созерцать лебедей на пруду и арендаторов, трудящихся в поте лица в пределах и за пределами его имения, а также совершать прогулки по природным просторам (точнее говоря, по свекловичным полям), с досадой поднимая глаза к небу всякий раз, как по нему пролетает самолет «старфайтер». Фон Х. избегает общаться с братом, живущим в замке, «из-за некоторых махинаций, которые он совершил от моего имени, но без моего

ведома в том отделе, который я тогда возглавлял». На лице фон Х. – подвижном, но жирноватом – при этих словах появляется выражение некоторой горечи, не имеющей, однако, персональной направленности и носящей скорее абстрактно-морализаторский характер, которую тот, как показалось авт., заглушает напитком, весьма опасным при неумеренном потреблении: хорошо выдержанным шерри. Во всяком случае, авт. обнаружил поразительно большое количество пустых бутылок из-под шерри в мусорной куче и пугающе большое количество тех же бутылок, но полных, в шкафу для «чертежей». Авт. пришлось несколько раз побывать в деревенской пивной, чтобы получить – хоть и в форме слухов – те сведения, которые фон Х. отказался дать, заявив: «Я нем как могила».

Нижеследующее представляет собой резюме, составленное авт. в результате бесед, проведенных им во время тех посещений деревенской пивной с десятком жителей Хофгаузена; симпатии всех крестьян, безусловно, были на стороне бездеятельного Вернера, а их уважение – на стороне его брата Арнольда, человека, по-видимому, необычайно деятельного; от явного почтения они говорили о нем почти с дрожью в голосе; очевидно также – исходя из рассказов деревенских жителей, – что Арнольд, работая в центре планирования строительства под началом брата, ведая отделом проектирования аэродромов бундесвера, с помощью депутатов ХДС, банкиров, лоббистов самых разных группировок комитета обороны и даже давления, оказанного на министра обороны, добился того, что «знаменитый в веках Хофгаузенский лес» и большие прилегающие к нему угодья были отведены под площадки для аэродрома НАТО. Это была – по высказываниям жителей деревни – сделка «миллионов на пятьдесят или сорок, самое меньшее – на двадцать», и совершалась она (житель деревни, крестьянин Бернхард Хекер) «его отделом, но против его воли, зато с согласия комитета обороны».

«Я навек обязан Груйтену (Хофгау), ведь он спас меня, тогда еще совсем молодого, от службы в вермахте, взяв к себе личным референтом; позже, когда ему лихо пришлось, я смог хоть как-то отплатить ему добром за добро»; фон Хофгау еще немного помялся, но потом все же дал авт. искомую информацию о загадочной истории Генриха – Эрхарда. «Раз это вам, как я вижу, так важно, я расскажу. Госпожа Хойзер видела не все бумаги и не знакома с проблемой во всем ее объеме. Она получила только бумаги по делу мальчиков, рассматривавшемуся трибуналом, да и то не все, а также рапорт офицера, приводившего приговор в исполнение. В действительности же история эта так запутанна, что мне будет трудно ее воспроизвести с достаточной точностью. Итак, сын Груйтена отказался воспользоваться протекцией отца, однако тот,

вопреки желанию сына, пустил в ход свои связи и добился – для него это были сущие пустяки, – чтобы его сына вместе с кузенком перевели для начала в какую-то финчасть в Любеке; это было дня через два после захвата Дании. Однако он – я имею в виду господина Груйтена-старшего – недооценил упрямство своего сына, который хоть и поехал в Любек вместе со своим кузенком, но, поняв, куда попал, тотчас вернулся в Данию – без приказа о переводе, без командировочного предписания; при доброжелательном отношении действия эти могли быть расценены как самовольная отлучка, а при недоброжелательном – как дезертирство; этот проступок, вероятно, еще удалось бы замять, а вот другой замять было уже невозможно: Генрих и Эрхард попытались продать одному датчанину противотанковую пушку, хотя тот и отказался ее купить, – ведь это было бы для него самоубийством, к тому же совершенно бессмысленным; сама попытка считалась уже преступлением, тут никакая протекция не могла помочь, ничего не вышло, и свершилось то, что должно было свершиться. Я хочу быть с вами предельно искренним и потому признаюсь, что, хотя наша фирма строила тогда в Дании большие объекты и мы были знакомы чуть ли не со всем генералитетом, мне, как личному референту Груйтена, стоило большого труда заполучить бумаги по делу мальчиков; прочитав их, я передал папку госпоже Хойзер, секретарше Груйтена, предварительно отредактировав – ну, что ли, почистив ее, отобрав кое-что, если хотите. Дело в том, что там без конца попадались слова «грязная сделка», и мне не хотелось причинять шефу лишнюю боль».

Лотта Х., которая не может удержаться от горестного вздоха при одной мысли о том, что ей, может быть, придется расстаться со своей уютной маленькой квартиркой с садом на крыше и в центре города, говоря с авт. «об этой истории», беспрерывно вздыхала, курила одну сигарету за другой, то и дело приглаживая и без того гладкие коротко подстриженные волосы с сильной проседью, и постоянно прихлебывала кофе. «Да, мальчики погибли, тут уж ничего не попишешь. Какая разница, из-за чего – из-за дезертирства или из-за того, что пытались загнать эту пушку, главное – погибли, и я не знаю, действительно ли они этого хотели. У меня всегда было ощущение, что в их поведении очень многое вычитано из книг, мне даже кажется, что они оба удивились и испугались, когда их на самом деле поставили к стенке и прозвучала команда: «Целься!» Как-никак, у Эрхарда была Лени, а уж Генриху – тому вообще стоило только захотеть, и любая девушка была бы его. По-моему, от поступка этих мальчишек сильно разит немецким духом, ведь устроили они это все не где-нибудь, а именно в Дании, где наша фирма тогда только разворачивала строительство особо крупных объектов. Ну, ладно. Назовем все это, если хотите, символичным, с двумя «л», прошу вас. У моего мужа, которого

угробили несколько дней спустя под Амьеном, никакой такой символики и в мыслях не было. Он бы предпочел остаться живым, и отнюдь не только символически, и не стал бы умирать ради каких-то там символов; он просто боялся смерти, вот и все; а ведь в нем было много хорошего, да только они подавили в нем все это в монастырской школе, где он маялся до шестнадцати лет, готовясь стать священником, пока не понял, что все это бред; но было уже поздно. И у него осталось это чувство неполноценности из-за того, что не получил аттестата зрелости, – это они ему успели внушить; мы с ним познакомились позже, в организации «Свободная молодежь», пели со всеми вместе «Смело, товарищи, в ногу» и знали наизусть ее всю: «Все, чем держатся их троны, дело могучей руки. Сами набьем мы патроны, к ружьям прикрутим штыки». Только нам, конечно, никто не объяснил, что коммунизм 1897 года был другим, нежели коммунизм в 1927/28 году, а мой Вильгельм был совсем не тот человек, который мог бы взять в руки оружие. Да ни за что на свете! Но из-за этих идиотов ему пришлось его все же взять, и они послали его на верную гибель во имя этого бреда – на фирме даже кое-кто поговаривал, что его собственный отец с согласия Груйтена вычеркнул сына из списка лиц, получавших бронь; да и про меня распускали слухи, будто я оказалась чем-то вроде жены Урия, но я ей не была и не могла быть – такого верного человека, как Вильгельм, просто нельзя предать, да я не сразу могла предать даже память о нем, когда его уже не было. Ну, а теперь о патроне. Так вот, уже тогда у нас с ним могло что-то выйти; особенно меня восхищало в нем то, как этот высокий сухопарый деревенский парень с лицом простолюдина превратился в высокого подтянутого господина, в масштабную личность: он был не строитель, не архитектор, он был стратег, если хотите. Вот что восхищало меня в нем помимо подтянутости и высокого роста: талант стратега. С таким же успехом он мог стать банкиром, не имея никакого понятия о финансах, – надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. У него в кабинете на стене висела карта Европы, он втыкал в нее булавки, а иногда и флажки; так ему было одного взгляда на карту достаточно – на мелочи он никогда внимания не обращал. И еще – он владел одним очень важным приемом, который просто-напросто перенял у Наполеона, – сдается, биография Наполеона, причем довольно примитивная, была единственной книгой, которую он прочел; прием был очень прост, а может, с его стороны то был даже и не прием, а обыкновенное душевное отношение к людям, хотя бы отчасти. Ведь он начал дело в двадцать девятом, и, пожалуй, с чересчур большим замахом – сразу сорок рабочих с бригадами и так далее, – и ему удалось, несмотря на экономический кризис, их всех сохранить, ни одного не уволил; он шел на всяческие банковские хитрости, раздавал направо и налево векселя, брал кредиты под ростовщические проценты – и вот в тридцать третьем у него работали те же сорок человек, и они никому, буквально никому

не дали бы его в обиду; были среди них и коммунисты, и он тоже не давал их в обиду, помогал им во всем и выручал, если они попадали в трудное положение по политическим причинам; сами понимаете, что в последовавшие годы они все пошли в гору – как сержанты у Наполеона; он доверял им строительство крупных объектов и знал их всех, каждого в отдельности знал по имени, знал даже, как зовут их жен и детей, и при встрече подробно расспрашивал про них, был в курсе их жизни – например, знал, если кто-то из детей остался на второй год, и так далее. А когда он приезжал на стройку и замечал, что у них где-то не хватает рук, то брался за лопату или кирку, а то и садился за баранку и делал срочный рейс – и всегда вмешивался только тогда, когда было действительно необходимо. Все остальное можете легко себе представить. И еще один секрет я вам открою: деньги его не интересовали. Конечно, ему нужны были какие-то деньги для антуража: ну, там, костюмы, машины, вообще свободные суммы для маневра, возможность иногда устраивать званые вечера; но как только у него появлялись большие деньги, он их тут же вкладывал в дело, даже влезал в долги. «Всегда быть в долгу, как в шелку, Лотта, – сказал он мне как-то, – вот единственно правильный путь». А что до его жены – да, это она первая заметила, что в «нем что-то есть», – но что именно в нем было и что потом выплеснулось наружу, вызвало у нее просто ужас; да, она хотела сделать из него большого человека, иметь открытый дом и все такое, но вовсе не хотела быть замужем за начальником генерального штаба. Если позволите, я сейчас скажу нечто неожиданное, и, может быть, вы меня поймете: это он был идеалистом, а она – реалисткой, хотя могло показаться как раз наоборот. Боже мой, я считала преступлением все, что он делал, – ведь он строил им и бункеры, и аэродромы, и штабы, и теперь, бывая в отпуске в Дании или Голландии, я вижу эти бункеры на пляже, которые мы тогда построили, и меня тошнит от их вида; но все же: то было время сильной власти, время сильных и властных, а он был человек властный, хотя власть сама по себе была ему не нужна, так же как и деньги. Во всем этом его привлекала игра, – да, он был игрок, но игрок уязвимый: у него был сын, а сын не захотел, чтобы его выдернули из дерьма».

Попытка вернуть Лотту ко второй теме нашей беседы – отношениям Лени и Эрхарда – поначалу не удалась. «Потом об этом, дайте мне сперва выговориться. Только чтобы вам стало ясно: нас уже тогда тянуло друг к другу, он оказывал мне разные знаки внимания, называйте это как хотите, но для сорокалетнего мужчины, каждодневно имеющего дело с двадцатисемилетней женщиной, они просто трогательны. Разумеется, он дарил мне цветы, два раза поцеловал руку выше локтя, но самым потрясающим был тот случай в Гамбурге, когда он протанцевал со мной полночи в отеле; это было совсем на него не похоже. Вы не замечали, что «великие люди», как правило, плохо танцуют? Надо вам сказать,

что со всеми мужчинами, кроме собственного мужа, я всегда держалась недотрогой, в моем характере есть одна противная черта, от которой я долго не могла избавиться: я храню верность. Просто какое-то наказание. И никакая это не добродетель, скорее, просто дурь; представьте себе, каково мне было ночью, когда дети спали, лежать одной в постели, после того как моего мужа, моего Вильгельма, ради их бредней укололи под Амьеном? И ни одному мужчине, ни одному, не позволила я прикоснуться к себе вплоть до сорок пятого года, – и ведь не из-за каких-то там убеждений или взглядов, ведь целомудренность и прочую чепуху я ни в грош не ставлю; а к сорок пятому прошло уже целых пять лет, вот мы с ним и решили сойтись. А теперь, если хотите, поговорим о Лени и Эрхарде; я вам уже, кажется, говорила, что Эрхард был необычайно робок, так вот – Лени была не менее робкой, это вам надо знать. Он боготворил ее с самого начала, она была для него чем-то вроде таинственно воскресшей флорентийской bionda[4 - Белокурая дама (ит.).] или еще чего-то в этом роде, и даже предельно сдержанные рейнские интонации Лени, даже ее прямо-таки чрезмерно сдержанная манера держаться не смогли его охладить. Для него не играло никакой роли, что она оказалась, по его понятиям, совершенно невежественной, а те обрывки секретионной мистики, что застряли у нее в голове и сидят до сих пор, вряд ли могли бы прийти ему по вкусу, если бы она их выложила. Чего только мы ни делали – я имею в виду Генриха, Маргарет и себя, – чтобы у этих двоих все сладилось. Вы должны учесть, что времени было в обрез: между маем тридцать девятого и апрелем сорокового он приезжал, наверное, в общей сложности раз восемь. Мы с Генрихом, разумеется, не говорили об этом, только перемигивались, ведь и так было видно, что они влюблены друг в друга. И как приятно было, я подчеркиваю, было приятно смотреть на них, может, и не стоит так уж сокрушаться, что они не спали друг с другом. Я покупала им билеты в кино на всякую пошлятину вроде «Дружба в море» или на такую идиотскую халтуру, как «Осторожно – враг подслушивает», и даже фильм о Бисмарке послала их смотреть, потому что думала: черт побери, сеанс длится три часа, в зале темно и тепло, как в материнском чреве, он, уж конечно, возьмет ее руку в свою, а может, они догадаются и поцеловаться (очень горький смешок! – Ремарка авт.), а уж если это случится, то дальше все пойдет как по маслу; но ничего этого не было, совершенно очевидно, что не было. Он сводил ее в музей и там объяснял, как отличить подлинную картину Босха от приписываемой ему, пытался убедить, чтобы она перестала бренчать своего Шуберта и стала играть Моцарта, давал ей почитать стихи – кажется, Рильке, сейчас не помню точно, – а потом сделал нечто, что ее и впрямь проняло: стал сочинять в ее честь стихи и присылать ей. Ну, Лени была очаровательное создание – она и теперь кажется мне очаровательной, – если хотите знать, я и сама была в нее немножко влюблена: поглядели бы вы, как она танцевала с Эрхардом, когда мы все – мой

муж, я, Генрих, Маргарет и эта парочка – ходили вечером куда-нибудь посидеть; тут уж просто всей душой желаешь, чтобы они оба оказались на шикарном ложе под балдахином и наслаждались друг другом. Ну вот, значит, он стал сочинять в ее честь стихи, и что самое удивительное: она показывала их мне, хотя стихи – надо сказать – были довольно смелые; например, он довольно откровенно воспевал ее грудь, называя ее «пышным белым цветком сокровенности», с которого он жаждет «оборвать лепестки»; и еще он написал действительно прекрасное стихотворение о ревности, которое, вероятно, даже можно было бы опубликовать: «Я ревную к кофе, который ты пьешь, к маслу, которое намазываешь на хлеб, ревную к зубной щетке и к кровати, на которой ты спишь». Словом, все было сказано довольно однозначно, это так, но только на бумаге, только на бумаге...»

На вопрос, не могло ли так случиться, что между Лени и Эрхардом все-таки возникла интимная близость, о которой ничего не знали ни она, ни Генрих, ни все остальные, Лотта совершенно неожиданно для авт. зарделась (авт. признается, что вид зардевшейся Лотты сильно скрасил ему проведение дознаний, зачастую весьма утомительных) и сказала: «Нет, это я знаю почти наверняка, потому что спустя год с небольшим, когда она сошлась с этим Алоисом Пфайфером, за которого потом сдуру выскочила замуж, он похвастался своему брату Генриху, называя вещи своими именами, – мол, Лени досталась ему нетронутая, – а тот по наивности проболтался мне». Краска на лице Лотты все еще держалась, когда авт. спросил, не мог ли Алоис Пфайфер просто бахвалиться перед братом, приписывая себе, так сказать, трофеи, доставшиеся кому-то другому, Лотта впервые заколебалась и сказала: «Что Алоис был хвастун, это бесспорно. Такая мысль мне как-то не пришла в голову». Но потом, резко тряхнув головой, добавила: «Нет-нет, я считаю, это исключено, хотя возможностей у этой парочки было более чем достаточно. Нет, и еще раз нет», – повторила она, к удивлению авт. еще раз залившись краской. «Когда Эрхарда не стало, Лени вела себя не как обычная вдова, если вы понимаете, что я имею в виду, – она вела себя как платоническая вдова». Авт. счел это выражение достаточно ясным и был восхищен его недвусмысленной прямоотой, но все же не был убежден до конца в его справедливости, хотя и сожалел, что так поздно обнаружил, сколь убедительными могут быть доводы свидетельницы Лотты Хойзер, урожд. Бернтген. Больше всего авт., однако, удивила разговорчивость, чуть ли не болтливость Лени в тот период ее жизни. Лотта и этому дала свое объяснение, но говорила уже спокойнее, подбирая слова, не выпаливая все подряд и время от времени, как бы в раздумье, поглядывая на авт.: «Было ясно как день, что она любила Эрхарда, любила и ждала с нетерпением, если вы представляете себе, что это значит, а иногда у меня даже возникало ощущение,

что именно она готова проявить инициативу; ну вот, а сейчас я вам расскажу нечто такое, что вообще-то рассказывать не принято: однажды я видела, как Лени прочистила засорившийся унитаз, она меня тогда просто потрясла. Субботним вечером 1940 года мы все собрались у Маргарет, немножко выпили, потанцевали – мой Вильгельм тоже был с нами, – и вдруг выяснилось, что засорился унитаз; неприятная история, скажу я вам. Кто-то бросил туда – как потом оказалось – большое подгнившее яблоко, и оно застряло в стоке. Ну, мужчины вызвались устранить неисправность; первым взялся за неприятное дело Генрих: он поковырял в трубе железным прутом; но ничего не получилось. Потом была очередь Эрхарда; этот поступил довольно разумно: принес снизу из прачечной резиновый шланг и попытался продуть трубу – не смущаясь запахом, сунул один конец шланга в вонючую жижу, а в другой принялся дуть что есть силы. А поскольку мой муж Вильгельм, который был когда-то водопроводчиком, потом техником и только под конец стал чертежником, оказался на удивление брезгливым, а мы с Маргарет только содрогались от отвращения, то знаете, кто справился с проблемой? – Лени. Она просто залезла правой рукой в унитаз, – у меня и сейчас еще перед глазами эта сцена, красивая белая рука Лени выше локтя погружается в вонючую желтую гадость, вытаскивает яблоко и швыряет его в помойное ведро, а вся эта отвратительная жижа с урчанием устремляется вниз; ну, а Лени – та, конечно, принялась отмываться, и мылась, надо сказать, основательно, а потом еще и протерла руки выше локтя одеколоном. И тут Лени сказала одну фразу – она только сейчас опять пришла мне на память, – которая тогда поразила меня, как громом: «Наши поэты были самыми смелыми ассенизаторами». Для чего я вам все это рассказываю? Я хочу показать, что, когда было надо, Лени умела энергично взяться за дело; значит, и за Эрхарда в конце концов взялась бы: он-то наверняка не имел бы ничего против. И вот что еще мне вдруг пришло в голову: никто из нас никогда в глаза не видел мужа Маргарет».

* * *

Поскольку показания Лотты Хойзер не во всем совпадали с показаниями Маргарет, авт. пришлось еще раз подвергнуть Маргарет допросу. Верно ли, что названные Лоттой лица несколько раз собирались у нее на квартире, чтобы потанцевать? Не было ли у нее с Генрихом более интимных отношений задолго до того, как произошло событие, которое можно назвать «ночь во Фленсбурге»? «Последнее, – сказала Маргарет, отхлебнув порядочный глоток виски и придя в состояние легкой эйфории с некоторым оттенком меланхолии, – последнее предположение я, ясное дело, отвергаю, мне ли этого не знать, да и ни к чему

было бы отрицать. Дело в том, что я совершила большую глупость – познакомила Генриха с моим мужем. Шлёмер редко бывал дома, я так толком и не поняла, чем он занимался – то ли вооружениями, то ли шпионажем, – денег у него, во всяком случае, было предостаточно. А от меня требовалось только «быть к его услугам», когда он извещал меня телеграммой о своем приезде. Он был старше меня. Так, лет тридцати пяти. Недурен собой, элегантен и вообще светский лев, как говорится. И они с Генрихом понравились друг другу.

А Генрих, он был замечательным возлюбленным, но вовсе не готов был к прелюбодейству – тогда еще не был готов. Я-то всегда была готова, а он – нет. Потому-то у нас с ним тогда ничего и не вышло: после знакомства с мужем ему просто совесть не позволяла. Но все остальное – это только Лотта могла вам рассказать, – ну, что я видела его больше двух раз, танцевала с ним и что вся их компания собиралась у меня, – все это верно, только больше четырех раз мы с ним все же не виделись».

В ответ на вопрос об отношениях Лени и Эрхарда Маргарет улыбнулась и сказала: «Об этом я ничего в точности не знаю, да и тогда не хотела знать. Какое мне было дело? Тем более до подробностей, они меня совсем не касались. Зачем мне было тогда или зачем мне теперь знать, целовались ли они, ласкали ли друг друга, делили ли постель – все равно, в моей ли квартире, в квартире Лотты или у Груйтенов? Я просто радовалась, глядя на эту пару: чего стоят хотя бы стихи, которые он ей посвящал и присылал, – Лени не смогла удержаться и показала их мне, она вообще эти несколько месяцев была не такая скрытная, как раньше, но потом опять замкнулась в себе. Разве так уж важно знать, кто был у нее первым – Эрхард или этот дурак Алоис, что вам это даст? И хватит вам в этом копать. Она его любила, любила нежно и страстно, и если между ними ничего не было, то в следующий его приезд обязательно было бы, ручаюсь; а чем кончилось дело, вы и сами знаете – в Дании, у кладбищенской стены. Его не стало. Спросите лучше саму Лени».

Спросите саму Лени! Легко сказать. Ее не больно-то спросишь; а если и спросишь, она не ответит. Старик Хойзер называет историю с Эрхардом «трогательной и чисто романтической любовью, которая, правда, плохо кончилась. Только и всего». Рахиль умерла, а этот Б. Х. Т., конечно, ничего не знает об Эрхарде. Поскольку доказано, что Лени часто навещала Рахиль в монастыре, та наверняка что-то знала бы. Пфайферы появились в жизни Лени лишь позже, и уж им-то Лени ни за что не стала бы рассказывать о том, что ей

«дорого». А «дорого» было ей, по словам М. в. Д., к которой авт. волей-неволей вынужден был обратиться, все, что касалось истории с Эрхардом. И тут авт. пришлось пересмотреть некоторые излишне поспешные выводы насчет М. в. Д., которые он сделал на основании ее высказываний в адрес госпожи Груйтен. Когда речь идет не о супругах Груйтен, ее суждения оказываются и тонкими, и почти скрупулезно точными. Когда авт. нагрянул к ней в деревню и застал ее среди астр, герани и бегоний – одной рукой она разбрасывала корм голубям, а другой гладила своего старого пса (не чистопородного пуделя), – она сказала: «Незачем вам касаться того, что Лени так дорого. Ведь все это было как в сказке, просто как в сказке. Они не скрывали свою любовь, их так и тянуло друг к другу; я несколько раз видела, как они сидели вдвоем в гостиной – это та комната, которую теперь Лени сдала португальцам; на столе парадный сервиз, и они без конца пили чай; Лени чая терпеть не могла, а вот с ним пила; он не жаловался напрямую на свою службу в армии, но весь его вид говорил, как ему там тяжело и отвратительно; и вот она положила руку ему на плечо, чтобы его утешить, и было заметно, что одно это прикосновение вызвало в его душе целую бурю чувств или, если хотите, переживаний. Ведь сколько было случаев, когда он мог завоевать ее целиком и полностью, она же ждала этого, изнемогала от ожидания, – если позволите, я выражусь немного грубее – она прямо-таки заждалась его; и если уж я заговорила об этом, то скажу: Лени стала немного нетерпеливой, да-да, нетерпеливой – и в биологическом смысле тоже; не раздражительной, нет, и не злобной; если бы он мог пробыть с ней хотя бы два-три дня кряду, все приняло бы другой оборот. Я ведь осталась старой девой, и у меня нет никакого опыта в этих делах, но на мужчин я нагляделась за свою жизнь достаточно, и вот я вас спрашиваю, что должен чувствовать мужчина, когда он приезжает с обратным билетом в кармане и ни на минуту не может выбросить из головы расписание поездов и казарму или командный пункт, куда он должен явиться точно в назначенный час. Я вам скажу то, что я, старая дева, поняла еще в молодости, в Первую мировую войну, и потом, во вторую войну, еще раз убедилась: приезд на побывку – ужасная вещь и для мужа, и для жены. Ведь когда он приезжает на побывку, все понимают, чем они там с женой будут заниматься; и получается, что у них каждый раз что-то вроде брачной ночи у всех на виду, а уж люди – во всяком случае, у нас в деревне, да и в городе тоже – не больно-то церемонятся и отпускают всякие шуточки на их счет; так было и с Лоттиным мужем, он каждый раз краснел до ушей, ведь Вильгельм был очень стеснительный; и думаете, я не понимала, что к чему, когда мой отец приезжал с войны в отпуск?.. Что до Эрхарда, то ему просто времени не хватило, чтобы завоевать Лени, – да и как было это сделать при вечной спешке, а так, между делом, он просто не мог. А его стихи? Там ведь все яснее ясного сказано, чуть ли не разжевано. «Ты – та земля, куда вернусь я навсегда», – куда уж яснее? Нет,

чего ему не хватило, так это времени, у него просто не было времени. Только подумайте, ведь он пробыл с Лени в общей сложности часов двадцать, не больше, а напористым он не был. Лени на него не обиделась, только погрустнела, она-то была готова, она-то ждала. Даже мать ее все поняла и хотела этого, это я точно знаю. Я же видела: она проследила за тем, чтобы Лени надела самое нарядное платье – шафрановое с круглым вырезом – и шикарные лодочки, сама вдела ей в уши коралловые сережки, похожие на свежие вишни, и дала ей духи – словом, раздела ее, как невесту; даже мать все понимала и хотела этого – но времени не хватило, только времени; еще бы один-единственный денечек, и она бы стала его женой, а не женой этого... Что тут скажешь... Плохо это было для Лени».

Пришлось нанести еще один визит госпоже Швайгерт; привратница справилась по телефону, и та ответила: «Проси!» – тоном не то чтобы раздраженным, но явно не слишком любезным и, попивая чай, но не предлагая его гостю, «позволила ему задать еще несколько вопросов»; да, ее сын как-то познакомил ее с этой девицей; госпожа Швайгерт, видимо, придавала большое значение разнице между «представил» и «познакомил»; представлять, собственно, не было никакой нужды, ведь она давно знала эту девицу, знала также, какое образование и воспитание та получила; конечно, «в их отношениях присутствовал некоторый оттенок влюбленности»; но мысль о возможности между ними длительных уз, называемых браком, то есть таких, как у ее сестры с отцом этой девицы, она вновь отмела как абсурдную. «Кстати, – добавила она, – эта девица однажды навестила меня сама, пила у меня чай и вела себя – надо отдать ей должное – вполне пристойно; единственной темой разговора был – как ни странно это звучит – вереск; девица спросила, не знаю ли я, где и когда цветет вереск и не цветет ли он теперь? Дело было в конце марта, надо вам сказать, так что я уж, грешным делом, подумала, что девица немного не в себе. В военное время – на дворе был сороковой год – спрашивать, не цветет ли вереск в Шлезвиг-Гольштейне в конце марта! Она не имела понятия о разнице между прибрежными и альпийскими лугами, а также о различиях в особенностях почв, существующих между ними. Но в конце концов, – завершила беседу госпожа Швайгерт, – все ведь обошлось». Очевидно, расстрел сына спецкомандой немецкого вермахта казался ей лучшим выходом из положения, чем его возможная женитьба на Лени.

Нельзя не признать, что госпожа Швайгерт своими жесткими и четкими ответами невольно пролила свет на некоторые неясные детали

рассматриваемых событий; так, именно она разъяснила или, во всяком случае, помогла выяснить загадочную историю с «финнами»; а если вспомнить ее сообщение о том, что Лени в конце марта сорокового года решила нанести ей визит и начать разговор о вереске в Шлезвиг-Гольштейне, и к этому сообщению присовокупить высказывание ван Доорн о том, что Лени была готова, а по мнению Маргарет, даже готова взять инициативу в свои руки, и, наконец, если припомнить, какие переживания были у Лени связаны с вереском в звездную летнюю ночь, – то сам собой напрашивается вполне объективный вывод: Лени овладела мысль поехать на север к Эрхарду и пережить с ним на вереске ощущения той ночи; правда, если учесть реальные ботанические и климатические условия, такое намерение обречено на провал из-за сырости и холода, хотя авт. по собственному опыту знает, что в марте отдельные поросшие вереском участки земли в Шлезвиг-Гольштейне, хоть и недолго, бывают сухими и теплыми.

Маргарет, измученная настойчивыми расспросами авт., наконец выложила: да, Лени спросила ее, что нужно сделать, если хочешь близости с мужчиной; и когда Маргарет сказала, что лучше всего воспользоваться для этого просторной и временами пустой семикомнатной квартирой ее родителей, покраснела не Лени, а Маргарет: Лени лишь отрицательно покачала головой; когда же Маргарет подсказала, что у нее, в конце концов, есть собственная комната, которую она может запереть на ключ и никого не впускать, Лени опять покачала головой, и тогда выведенная из терпения Маргарет прямо сказала, что как-никак существуют гостиницы, то Лени сослалась на неудачную попытку такого рода с молодым архитектором (она произошла незадолго до этого) и высказала мысль, которую Маргарет воспроизвела не без некоторых колебаний, так как «это было самое откровенное признание Лени за всю ее жизнь»: «это» может и должно произойти не «в постели», а на природе. «Только под открытым небом. Только под небом. Вместе лечь в постель – вовсе не то, что мне надо». Лени согласилась, что в супружеской жизни иногда без постели не обойдешься. Но с Эрхардом она не хотела в первый же раз лечь в постель. Она уже совсем было собралась ехать во Фленсбург, но потом решила отложить поездку до мая; таким образом, ее главное свидание с Эрхардом осталось всего лишь мечтой, не осуществившейся из-за войны. А может, и нет? Точно никто не знает.

* * *

Год, прошедший с апреля 1940-го по июнь 1941-го, согласно высказываниям всех свидетелей, родственников и не родственников, можно охарактеризовать одним словом: мрачный. Лени утратила в тот год не только хорошее расположение духа, она вновь утратила разговорчивость, даже потеряла аппетит. Ее страсть к езде на автомобиле временами пропадала, а любовь к полетам – она трижды летала с отцом и Лоттой Хойзер в Берлин – пропадала окончательно. Лишь раз в неделю она садилась за руль и ехала к сестре Рахили – всего несколько километров. Иногда она оставалась у нее довольно долго; об их беседах не у кого узнать; о них ничего не может сообщить и Б. Х. Т.: с мая 1941 года Рахиль больше не заходила в букинистический магазин, а сам он – по лености или недомыслию – не догадался навестить ее в монастыре. Итак: огромный фруктовый сад при женском монастыре летом, осенью, зимой 1940/41 года; молодая девушка восемнадцати с половиной лет, которая носит траур и у которой железы внешней секреции выделяют лишь один сложный продукт: слезы. А когда через несколько недель после смерти Генриха и Эрхарда приходит еще и извещение о гибели Вильгельма Хойзера, мужа Лотты, то круг плачущих увеличивается: в него входят теперь Хойзер-старший, его жена (тогда она была еще жива), Лотта и ее пятилетний сын; плакал ли также ее младший сын Курт, находившийся в то время в утробе матери, неизвестно.

Ввиду того, что автор считает себя не вправе и не в состоянии рассуждать о слезах, лучше всего почерпнуть сведения о возникновении слез, о химических и физических процессах, обуславливающих их выделение, в первом попавшемся справочнике. Семитомная энциклопедия, выпущенная в 1966 году издательством, пользующимся сомнительной репутацией, дает слезам следующее определение: «Слезы (лат. *lacrimae*) – жидкость, выделяемая с. железами; увлажняет конъюнктиву, предохраняет глаз от высыхания и постоянно удаляет попавшие в глаз мелкие инородные тела; она (по-видимому, жидкость. – Прим. авт.) стекает во внутренний угол глаза, а оттуда в слезно-носовой канал. При раздражении глаза (воспалительные процессы, инородные тела), а также при душевном волнении выделение с. жидкости увеличивается (Плач)». О плаче в той же энциклопедии сообщается следующее: «Плач, как и смех (см. Смех), – выражение острого душевного переживания, т. е. горя, умиления, гнева или радости. С психологической точки зрения это попытка душевной разрядки. П. сопровождается выделением слез, рыданиями или судорожными подергиваниями и связан с вегетативной нервной системой и мозговым стволом. Непроизвольный и неуправляемый истерический плач наблюдается при общей депрессии, маниакально-депрессивных заболеваниях и распространенном склерозе».

Весьма возможно, что некоторых читателей это перечисление сухих фактов заставит разразиться тем, что упоминается в ссылке (см. Смех), в силу чего они захотят ознакомиться с научным объяснением и этого рефлекса; поэтому авт. счел необходимым привести здесь и эту словарную статью, – хотя бы для того, чтобы избавить их от необходимости приобретать энциклопедию или хотя бы разыскивать в ней нужную статью.

«Смех с антропологической точки зрения – внешнее выражение реакции организма на острое душевное переживание (см. Плач). С философской т. зр. С. (ср. улыбка мудреца, улыбка Будды, улыбка Джоконды) – выражение уверенности и самоценности бытия. С психологической т. зр. С. – мимическое выражение радости, реакция на шутку, юмор. С. бывает детский, надменный, иронический, задушевный, импульсивный, отчаянный, злобный, кокетливый и отражает различные состояния психики и черты характера. Патологический С. (непроизвольный С., как насильственный, а также сардонический С., сопровождающийся гримасой, и истерический С. с конвульсиями) возникает при заболеваниях нервной системы и психозах. В социальном аспекте С. заразителен (идеомоторика под действием зрительного образа)».

Ввиду того, что мы теперь вынуждены приступить к изложению более или менее эмоционально насыщенного, а главное, трагического периода в жизни действующих лиц, вероятно, будет целесообразным дополнить перечень определяемых понятий и попутно заметить, что слово «счастье» в цитируемой энциклопедии отсутствует (за словом «счалка» сразу идет слово «счет»); однако слово «блаженство» нам обнаружить удалось; оно определяется там как «полное и длительное ощущение совершенной удовлетворенности жизнью. Б., естественная цель каждого человека, зависит от того, в чем он ищет этой удовлетворенности, т. е. от его выбора, определяющего весь его жизненный уклад; по христианской религии, истинное Б. тождественно лишь вечному Б. (см. Вечное Б.)».

«Вечное блаженство» – лишенное грехов и страданий состояние непрерывного полного счастья, провозглашаемое всеми религиями как смысл и цель человеческой жизни. В католич. вероучении главным почитается небесное Б., выражающееся в бесконечном приближении к небесной благодати; засим следует В. Б. людей (и ангелов), т. е. саморастворение в Боге и приобщение к Его милости, которое берет свое начало уже в земной жизни как причащение к страданиям Иисуса Христа (небесная благодать) и завершается В. Б. при воскресении душ (см. Воскресение) и эсхатологическом преображении всего

сущего. По Евангел. В. Б. – это полное единение с Господней волей, т. е. подлинное предназначение человека, его благо и спасение».

Поскольку слезы и плач, смех и блаженство теперь уже достаточно подробно объяснены и их определениями мы можем в любое время воспользоваться, нам не придется в дальнейшем подробно описывать соответствующие душевные состояния персонажей и мы сможем лишь время от времени отсылать читателя к их дефинициям, почерпнутым авт. из энциклопедии; вследствие этого он сможет прибегнуть к соответствующим аббревиатурам. Ввиду того, что Сл., С. и П. возникают лишь при острых душевных переживаниях, здесь, вероятно, будет уместно поздравить всех, кто прожил жизнь без чрезвычайно острых, просто острых или даже вообще без переживаний, кто никогда не проливал Сл., не знал, что такое П., ни по ком не горевал и умел подавить С., если того требовали правила приличия. Слава тому, чей конъюнктивный мешок никогда не исполнял своих прямых функций, кто с сухими глазами преодолел все препоны и не воспользовался своими слезно-носовыми каналами. Слава тому, кто не выпускает из-под контроля свой мозговой столб, кто, неизменно и непреклонно веря в самоценность своего бытия, взирал на жизнь с улыбкой мудреца! Да здравствуют Будда и Джоконда! Да пребудут они в веках воплощением этой непреклонной веры.

В силу того, что авт. необходимо будет употребить и слово «боль», он заодно приведет и ее определение, сформулированное в той же энциклопедии, но приведет не полностью, а лишь в урезанном виде и ограничится одной, но очень важной фразой: «Степень чувствительности к Б. различна у разных индивидуумов, и прежде всего потому, что к физической Б. добавляется Б. душевная. Их сочетание и создает субъективность Б.».

Поскольку Лени и остальные упомянутые выше лица ощущали не только Б., но и страдание, следует привести также основную фразу из словарной статьи С., дабы наш набор дефиниций обрел необходимую завершенность. «С. ощущается человеком тем сильнее, чем более важные жизненные ценности им затрагиваются и чем чувствительнее его натура». А так как смех и страдание, боль и блаженство начинаются, соответственно, с одной и той же буквы, мы будем в дальнейшем при описании душевных состояний обозначать смех через С

, страдание через С

, боль через Б

, а блаженство через Б

.

Одно можно сказать с полной уверенностью: у всех членов семейств Груйтенгов и Хойзеров, включая сюда и Марию ван Доорн, равно связанную как с тем, так и с другим, были затронуты, очевидно, очень важные жизненные ценности. У Лени началось что-то со здоровьем: она исхудала, глаза у нее так часто были на мокром месте, что посторонние считали ее плаксою; ее роскошные волосы не то чтобы поредели, но как-то потускнели, и даже волшебное поварское искусство Марии, которая, правда, тоже колдовала на кухне, заливаясь Сл., – ни богатейший выбор ее знаменитых супов, ни самые наисвежайшие булочки не могли вернуть Лени утраченный аппетит. На фотографиях, тайком сделанных в тот период одним из служащих ее отца и впоследствии перешедших к Марии, Лени выглядит кислой и бледной от Б

и С

, совершенно обессиленной от П. и Сл., без всякого намека на подобие улыбки или С

на лице. Была ли Лотта Хойзер все же не права, отрицая подлинность вдовства Лени, и не ощущала ли себя Лени в самой глубине души, в глубине, скрытой от Лотты, вдовой не только в платоническом смысле? Во всяком случае, субъективное С

Лени было глубоким и сильным. Не менее сильным было оно и у остальных. Ее отец впадал теперь не только в мечтательность, он начал впадать в тоску и был (по свидетельству всех, кто имел с ним дело) «не совсем в себе». А поскольку и Хойзер-старший был убит горем, и Лотта (по ее словам) «была не та, что прежде», а госпожа Груйтен вообще на глазах угасала в своей спальне и «съедала лишь изредка несколько ложек супа и пол-ломтика поджаренного

хлеба» (М. в. Д.), то более или менее убедительным объяснением того факта, что фирма не только продолжала процветать, но и расширялась, можно считать объяснение, предложенное стариком Хойзером: «Дело было так хорошо налажено и поставлено, и все ревизоры, плановики и строители, нанятые Губертом, так добросовестно относились к работе, что все шло как бы само собой, во всяком случае – в тот год, когда Губерт практически отошел от дел, да и я тоже. Но главное: для ветеранов фирмы – а их к тому времени набралось несколько сотен – пробил час показать, на что они способны: они-то и взяли все в свои руки!»

Со стороны авт. было бы просто не деликатно привлекать именно Лотту Хойзер для освещения одного пока еще смутного периода в жизни Груйтена-старшего; к сожалению, придется все же обойтись без ее сообщений, столь точных и восхитительно деловых.

Дело в том, что весь следующий год, начиная с апреля 1940-го до приблизительно июня 1941-го, она была, как теперь стало принято выражаться, «его постоянной спутницей». Возможно, и он был ее постоянным спутником, ибо они оба нуждались в утешении, которого, по-видимому, так до конца и не нашли.

Они везде разъезжали вместе – беременная вдова и убитый горем отец, так и не прочитавший документов, излагавших обстоятельства трагедии, унесшей жизнь его сына и его племянника, и ограничившийся лишь кратким изложением их сути, услышанным от Лотты и Вернера фон Хофгау; отец, который время от времени бормотал себе под нос «насрать на Германию» и который только делал вид, что ездит с одной стройки на другую, а на самом деле лишь менял гостиницы и ни разу даже не заглянул в чертежи, бухгалтерские книги, деловые бумаги или на строительные площадки. Он ездит на поезде или в машине, иногда летает на самолете, грустно балует пятилетнего Вернера Хойзера, которому ныне стукнуло тридцать пять и который живет в шикарной собственной квартире, обставленной элегантной мебелью, восхищается Энди Уорхолом и готов себе «локти кусать», что не догадался вовремя покупать его работы; Вернер увлекается поп-артом и сексом и владеет тотализатором; он хорошо помнит долгие прогулки по берегу моря в Шевенингене, Мер-ле-Бене и Булони, помнит, как «дедушка Груйтен» пожимал кому-то руки, а мама плакала, помнит стройки, несущие балки, рабочих в «странной одежде» (вероятно, заключенные концлагерей. – Авт.). Иногда Груйтен, который в ту пору уже не

расстается с Лоттой, несколько недель проводит дома, сидит у постели жены, подменяя Лени, и в отчаянии пытается, как и Лени, развлечь жену, читая ей вслух что-нибудь ирландское – сказки, саги, песни, – столь же безуспешно, как и Лени; госпожа Груйтен лишь устало качает головой и улыбается. Хойзер-старший, по-видимому, быстрее преодолевший свою Б

, уже в сентябре больше не проливает Сл., вновь «погружается в дела» и время от времени слышит странный в устах Груйтена вопрос: «Разве наша лавочка еще не развалилась?» Нет, не развалилась. Наоборот, дела все еще идут в гору: ветераны хранят верность своему шефу, стоят плечом к плечу.

Был ли Груйтен в свои сорок с небольшим уже конченным человеком? Почему он никак не может примириться со смертью сына, когда у тысяч людей вокруг тоже гибнут сыновья, но те как-то держатся? Может, он начал читать книги? Да. Но только одну книгу. Вытаскивает на свет божий старый молитвенник 1913 года издания, подаренный ему в день конфирмации, и «ищет утешения в религии» («хотя никогда ею не интересовался», Хойзер-ст.). Единственным результатом этого чтения было то, что он начал раздавать деньги – «кучи денег», как выразились Хойзер и его невестка Лотта, а ван Доорн вместо «куч» употребила слово «пачки» («И мне дал целую пачку денег, так что я смогла выкупить обратно дом моих родителей и небольшой участок земли»); Груйтен заходит в церкви, но «выдерживает там одну-две минуты» (Лотта). «На вид ему можно дать все семьдесят, а его жена, которой как раз исполнилось тридцать девять, выглядит всего на шестьдесят» (ван Доорн). Он целует жену, иногда целует Лени, но никогда не целует Лотту.

Не подорвано ли его здоровье? Бывший домашний врач Груйтенов, некий доктор Виндлен, восьмидесятилетний старик, давным-давно переставший считаться с такой условностью, как врачебная тайна, беседуя с авт. в своей старомодной квартире, где все еще стоят белые шкафы и белые стулья, напоминая о прежней частной практике своего владельца, ныне посвятившего себя развенчиванию моды на медикаменты как нового идолопоклонства, – так вот, этот Виндлен утверждает, что Груйтен «был совершенно, ну просто совершенно здоров; все у него, абсолютно все было в норме – печень, сердце, почки, кровь, моча; ведь он даже почти не курил, разве что одну сигару в день, да и пил не много – не больше бутылки вина за неделю. Болен? Какое там! Вот что я вам скажу: он понимал, что вокруг творится, и понимал, что делает. Вам сказали, что иногда

он выглядел на все семьдесят, так это еще ни о чем не говорит. Конечно, психически и морально он был сломлен, но с органикой у него было все в полном порядке. Из Библии он запомнил одно: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». А это действует на психику».

Уделяла ли тогда Лени продуктам своего пищеварения такое же внимание, как прежде? Вероятно, нет. Она чаще виделась с Рахилью, даже рассказывала об этом. Все было «очень странно», как свидетельствует Маргарет. «Я ничему этому не поверила, как-то раз поехала вместе с ней и убедилась, что все правда. Гаруспику уже от всего отстранили, даже от должности «сестры при туалете». В церковь ее пускали, только когда не было торжественного богослужения с хором. Даже каморку, в которой она прежде обитала, у нее отобрали, и она ютилась под крышей в крохотном закутке, где раньше держали метлы, швабры, моющие средства и половые тряпки; и знаете, о чем она нас обеих попросила? Дать ей сигарет! Я тогда не курила, а Лени дала ей несколько штук, и она тут же закурила, жадно затянулась, а потом погасила – так, чтобы остался «бычок», – я уже видела, как другие оставляют «бычок», но она сделала это мастерски! Сразу чувствовалось, что она уже набила на этом руку, чистая работа, не хуже, чем в тюрьме или в больничной уборной; она осторожненько срезала ножницами сгоревший кончик сигареты и еще поковырялась в пепле – не осталась ли в нем хоть крошка табака, а окурок спрятала в пустой спичечный коробок. И при этом все время бормотала: «Господь близко, Господь близко, Он тут». Не как безумная и без всякой иронии, а вполне серьезно – с ума она не сошла, только немного опустилась: вид у нее был неряшливый, словно на ней мыло сэкономили. Больше я к ней не ездила, честно говоря, просто боялась, – нервы у меня тогда сильно сдали, после того как Генрих погиб и его двоюродный брат тоже; когда Шлёмер был в отъезде, я шаталась по борделям для солдат и спала с кем попало; уже тогда, в девятнадцать, я поставила на себе крест. Но на то, что творилось с монашкой, я не могла спокойно смотреть: ее держали взаперти, как мышь в мышеловке, это только надо видеть; она совсем ссохлась; жуя хлеб, который ей принесла Лени, она все время повторяла: «Маргарет, брось это, брось». – «Что?» – спросила я. «То, что ты делаешь». У меня просто духу не хватило еще раз к ней съездить, нервы совсем сдали, а Лени навещала ее еще много лет. Рахиль тогда говорила странные вещи: «Почему они меня не убьют, вместо того чтобы держать здесь?» А Лени она без конца повторяла: «Ты должна жить, черт побери, ты должна жить, слышишь?» И Лени плакала. Она любила сестру Рахиль. Ну, а потом, конечно, узнали («Что?»), что она была еврейка и что орден на нее не донес, ее просто вычеркнули из списка монахинь, как будто она пропала при переселении в другой монастырь, выходит, ее просто прятали, но есть мало давали – потому, мол, что продовольственной карточки на

нее положено не было; а ведь у них и фруктовый сад имелся при монастыре, и свиней они откармливали. Нет, мои нервы не могли этого вынести. Она стала похожа на старую высохшую мышь... А Лени к ней пускали только потому, что она очень уж упорно настаивала, а еще потому, что знали, какая она наивная. Ведь она думала, что сестра Рахиль просто за что-то наказана. И до самого конца войны так и не знала, что значило быть евреем или еврейкой. Да если бы и знала – и знала бы, как опасно было связываться с еврейкой, она бы сказала: «Ну и что?» – и продолжала бы ездить к Рахили, могу поклясться. Лени была храбрая, она и сейчас храбрая. У меня сердце сжималось, когда Рахиль повторяла: «Господь близко, Господь близко, Он тут» – и все поглядывала на дверь, как будто ждала – вот Он войдет; меня это пугало, а Лени нет, она только выжидательно глядела на дверь и ничуть бы не удивилась, если бы Господь и вправду вошел. Это было в начале сорок первого, я уже работала в госпитале, Рахиль тогда посмотрела на меня и сказала: «Плохо не только то, что ты делаешь, еще хуже то, что ты принимаешь. И давно ты это принимаешь?» А я ей: «Две недели». И она сказала: «Еще не поздно отвыкнуть». А я ей: «Никогда не отвыкну». Речь шла, конечно, о морфии – разве вы не поняли? И даже не догадывались?»

В утешении не нуждалось, по-видимому, лишь одно лицо – госпожа Швайгерт; в тот год она частенько появлялась в доме Груйтенев – навещала свою умирающую сестру и внушала ей, что «злой рок не может сломить достойного человека, он лишь укрепляет его дух», и что ее муж, Губерт Груйтен, потому и «сломлен», что в нем нет породы; не стеснялась выговаривать своей час от часу слабеющей сестре: «Вспомни о гордых фениях» – и приводила в пример Лангемарк. А спросив у ван Доорн, передавшей авт. все эти высказывания, о причинах столь явной скорби Лени и услышав, что Лени, по всей вероятности, оплакивает ее сына Эрхарда, она почувствовала себя смертельно оскорбленной и считала возмутительным, что «эта вересковая девица» (новый вариант «какой-то там девицы». – Авт.) «смеет» оплакивать ее сына, в то время как сама она его не оплакивает. После этой «возмутительной новости» она прекращает свои визиты и покидает дом Груйтенев со словами: «Нет, это уж и впрямь слишком – при чем тут вереск?»

Разумеется, и в тот год в кино шли фильмы, и Лени иногда ходила их смотреть («Дружба в открытом море», «Средь шумного бала», еще раз смотрит «Бисмарк»).

Авт. сильно сомневается, что хотя бы один из них мог хоть немного утешить ее или хотя бы отвлечь от мрачных мыслей.

Могли ли ее утешить популярные в ту пору шлягеры «Храбрая солдатская женка» или «Мы идем на Британию»? Тоже весьма сомнительно.

Временами все трое Груйтенов – отец, мать и дочь – лежат в постелях в своих комнатах с затемненными окнами, не выходят из них и при воздушных тревогах и «целыми днями, а то и неделями, только и делают, что глядят в потолок» (ван Доорн).

А между тем все Хойзеры – то есть Отто, его жена, Лотта, ее сын Вернер – переехали в квартиру Груйтенов, и тут происходит событие, которое хоть и можно было предвидеть и даже точно вычислить дату, тем не менее воспринимается всеми как чудо и даже способствует некоторому оздоровлению обстановки: в ночь с двадцать первого на двадцать второе декабря 1940 года, во время бомбежки, у Лотты рождается ребенок, мальчик, весом в шесть с половиной фунтов, а поскольку роды начинаются немного раньше, чем ожидалось, акушерка не извещена и «занята в другом месте» (позже выяснилось, что она принимала роды, родилась девочка), а энергичная Лотта, равно как и ван Доорн, неожиданно оказываются беспомощными и теряются, происходит еще одно чудо: госпожа Груйтен встает с постели и без всякой паники дает Лени точные, энергичные и в то же время спокойные указания; пока Лотта корчится в последних схватках, в доме кипятят воду, стерилизуют ножницы, прогревают пеленки и одеяла, мелют кофе, достают из буфета коньяк; а ночь за окнами холодная, темная, самая длинная ночь в году; в эту ночь исхудавшая госпожа Груйтен – «кожа да кости, в чем только душа держится» (ван Доорн) – показала, на что способна; в своем небесно-голубом купальном халате она снова и снова проверяет, на месте ли весь необходимый инструмент, протирает лоб Лотты одеколоном, держит ее руки, в нужный момент спокойно разводит в стороны ее ноги, помогает приподняться на постели и принять положенную при родах позу, без всякого намека на испуг принимает младенца, обтирает Лотту водой с уксусом, перерезает пуповину и следит, чтобы ребенку было «тепло, тепло и еще раз тепло» в корзинке для белья, которую Лени заранее застелила одеялом. Ее ничуть не заботит, что фугаски падают где-то неподалеку, а на уполномоченного по противовоздушной обороне, некоего Хостера, который то и дело приходит и требует, чтобы погасили свет и спустились в бомбоубежище, она так рявкает, что все свидетели этого происшествия (Лотта, Мария ван Доорн, старик Хойзер), не сговариваясь, в один

голос заявляют: «Она отшила его, как настоящий жандарм».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Здесь и далее в романе стихи в переводе В. Микушевича.

2

Счастливый конец; счастливая ночь (англ.).

3

Субботний вечер (англ.).

4

Белокурая дама (ит.).

Купить: https://tellnovel.com/ru/bell-_genrih/gruppovoy-portret-s-damoy

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)